Юрий Колкер

Б У Л Ь Б А И Я

ГОГОЛЬ-11. КРИТИЧЕСКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

↓

Какое чтение требуется подростку? Приключенческое, героическое, романтическое. Неудивительно, что *Тараса Бульбу*, в отличие от большинства вещей Гоголя, меня коробивших, я в детстве дочитал до конца. Однако ж и эта повесть решительно не понравилась мне. Почему *Фрегат Надежда*, *Эрнани*, *93-й год*, *Айвенго*, *Капитан Блад* или *Граф Монте-Кристо* заворожили меня, а *Тарас Бульба* — нет?

1

Первым делом отвешиваю поклон Гоголю: имя Тарас, от греческого тарасиос, смутьян, как нельзя лучше подходит герою. Это попадание в десятку… только не случайное ли? Но тогда — ещё лучше! Тогда гениальность Гоголя заявляет о себе бессознательно, стихийно.

Дальше — поневоле придираюсь. Что сыновья Тараса «учились в киевской бурсе» — неточность, или, если угодно, иносказание: бурса — общежитие при учебном заведении, не само заведение. Придираюсь не чтоб упрекнуть Гоголя (иносказание вполне приемлемое, да и традиция на стороне писателя), а чтобы копнуть глубже, посмотреть, что за этим стоит. В детстве-то я этого не сделал.

Слово бурса хоть и латинское, а на деле очень польское, и весь Гоголь — очень польский, даром что поносит ляхов на все лады. Что Гоголь поляк, не удивительно: Украина принадлежала польским и литовским правителям столь же долго, что и московским царям: дольше трёх столетий, притом как раз польские столетия в культурном отношении были определяющие. Украинцы и поляки в сочинениях Гоголя не знают языкового барьера. Польша и польская Украина — постоянные культурные доноры Московии. Даже первая русская грамматика появилась не в Москве, а в Речи Посполитой, в Вильне, в 1618 году. В Московии в ту пору не было ни одной светской школы, тогда как Ягеллонский университет в Кракове существует с 1364 года.

Сыновья Бульбы приехали к нему на хутор (Бульба — владетельный пан и козачий полковник) выпускниками — заглядываю в энциклопедию — Киево-братской школы, открытой в 1615 году. Эта школа была в 1631 году переименована в Киево-Могилянскую коллегию, в 1701 году — в Киево-Могилянскую академию, а в 1819 году — в Киевскую духовную академию. *Могилянская* — от имени митрополита Петра Могилы (1596-1647), который Могилой стал в Киеве, родом же был валахский (румынский) боярин Петру Мовилэ… Очень бы не мешало помнить, сколь многим русская культура обязана этим двум родственным княжествам византийского происхождения: Валахии и Молдавии. Оттуда вышло немало наставников и просветителей. Достаточно назвать петровского дипломата Милеску-Спафария (предка Мечникова) и первого русского поэта Кантемира. Сюда же — этот Мовилэ-Могила, чьё влияние было колоссальным. Не от него ли и название белорусского города Могилёва? …Бульба и сам учился в том же заведении, что сыновья, — и даже слышал о поэте Горации; но язык Горация Бульба презирает, потому что на латыни нет эквивалента слову горелка. Горелка (не горилка!) — новое слово в каноническом Гоголе; в *Вечерах на хуторе* речь всегда шла о водке.

Встречаются отец и сыновья престранно. Бульба насмехается над бурсацкой одеждой Остапа и Андрия (будто видит их в таком наряде впервые!), Остап говорит, что не стерпит насмешки даже от батька́: побьёт батька́. Бульбе нравится эта идея, и —

> «отец с сыном, вместо приветствия после давней отлучки, начали насаживать друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то

отступая и оглядываясь, то вновь наступая.»

Премилая сцена! Верю ей. Козаки — народ лихой. Но, конечно, не верю этой «давней отлучке», стоящей тут вместо *долгой разлуки*. Гоголь юродствует: пытается уверить нас, что воспроизводит тамошний тогдашний говор героев, а на деле просто не владеет нормативным русским языком. Не верю и тому, что во время кулачного поединка бойцы оглядываются. На кого им оглядываться? На Андрия, что ли? О других зрителях нет ни слова. «Оглядываясь» — типичный у Гоголя словесный наполнитель, не несущий никакого смысла.

Характерные для Гоголя преувеличения (надо полагать, художественные) начинаются с первых страниц. Младший сын Бульбы, Андрий, «ровно в сажень ростом», то есть 2 метра 13 сантиметров, — рост по тем временам, с позволения сказать, гомерический. Сам Бульба тоже должен быть очень высок, потому что весит он «двадцать пудов», то есть 320 килограммов. Ну, и знаменитые шаровары шириною в Чёрное море, так всем понравившиеся…

А вот что мать двадцатилетнего Андрия — «старуха», хоть ей вряд ли может быть больше 38 лет, это ничуть не преувеличение, это тогдашний нормативный взгляд на женщину. «Старухе Лариной», как давно установлено, тоже лет этак 36. Притом норма эта — европейская. Из Стендаля знаем, что «герцогине не бывает больше тридцати двух» (почтительность не позволяет допустить такое). Тот же Стендаль, правда, с легким осуждением, говорит, что любовницу обычно бросают, когда ей исполняется 32 года. Сейчас всё это смешно до колик. Но тут и задуматься можно. Мужчины, которым для полового воодушевления требуются молоденькие женщины и отроковицы (в чём всегда присутствует что-то от насилия), в наши дни не мне одному кажутся неполноценными. И, разумеется, Бульба именно такой:

> «Не слушай, сынку, матери: она баба, она ничего не знает… Козак не на то, чтобы возиться с бабами…. Чтоб я стал бабиться с женой? Да пропади она: я козак, не хочу!»

Чуть состарившаяся безымянная жена — для Бульбы служанка, рабыня. «Она терпела оскорбления, даже побои»! Этот самодовольный силач и «рыцарь» (все козаки у Гоголя рыцари) поднимает свою героическую многопудовую руку на женщину, на мать своих сыновей, — а Гоголь приглашает нас полюбоваться этой стороной козачьей удали. Бульбой Гоголь восхищается, бедной «старухе» — только сочувствует. Гоголь хоть и не козак, но — той же породы: ему понятна женщина-мать («старуха»), да и то лишь в принципе, и женщина для удовлетворения похоти (молодуха). В отрочестве, вопреки безосновательной легенде, Гоголь получал своё от дворовых девок; в Петербурге, когда появились деньги, ходил к цыганкам (проституткам), — всё это не только не считалась зазорным, но даже и подразумевалось в тогдашнем мужчине, холостом, а то и женатом. Никому в голову не приходило осудить или хоть пожурить Пушкина за его гонорею («Я ускользнул от эскулапа»). Не кто-нибудь, а Боратынский, казалось бы, образец целомудрия, говорит об этой стороне жизни: «Я только был шалун, а не изменник».

Я не осуждаю Гоголя: ни жизнь его не осуждаю, ни его художественный ракурс. «К чему бесплодно спорить с веком?» Я только полагаю, что это нужно держать в голове для понимания Гоголя. Не только ему, но и Пушкину, с его дикой, уродливой женитьбой — в тридцать с лишним лет на девчонке! — не понятна была жена как *одновременно* возлюбленная, друг и собеседник. До такого понимания в первой половине XIX века поднимается в России один

только Боратынский, но и он начинал как все… почти как все: был в молодости «задумчивый проказник», по определению Пушкина.

Возвращаюсь к Бульбе. В его «светлице»

> «На полках по углам стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленого и синего стекла, резные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы: венецейской, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу Бульбы всякими путями через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена.

Вся вторая половина этой фразы («зашедшие…удалые времена) *ничего не значит*. Любая вещь домашнего обихода, даже и «чарка всякой работы», в любые времена, не только в «удалые», может попасть в любой дом «через третьи и четвёртые руки». Перед нами — пустая бумажная болтовня, слова ради слов, без всякого содержания. В *Диканьках*, в сказочной их части, такого рода наполнители составляют треть текста. Они гораздо менее заметны там, где Гоголь говорит о современном ему быте, о милом его сердцу дворянском мещанстве. *Тарас Бульба* — опять шаг в сторону сказки, и опять наполнители мешают читать и следить за смыслом. Разве можно не споткнуться на подобной фразе?

Приехавших сыновей и приглашённых гостей-козаков Бульба усаживает за стол («прежде всего выпьем горелки»). Но едва они сели и выпили, едва Бульба и сыновья перемолвились всего несколькими словами, *ничего не съев*, потому что о еде не сообщается, — как гостеприимный хозяин, возмечтавший вести сыновей в Запорожскую Сечь, выкидывает номер:

> «Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец, рассердился совсем, встал из-за стола, и, приосанившись, топнул ногою. — Завтра же едем! зачем откладывать? какого врага мы можем здесь высидеть? на что нам эта хата? к чему нам все это? на что эти горшки? — Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки.»

Поразительно! В это глупой необузданности — Гоголь усматривает доблесть! Гоголь восхищается своим Бульбой и меня приглашает присоединиться!

Поразительно и другое. Что делают сидящие за столом козаки, есаул и сотники, приглашённые Бульбой, но не сказавшие ни слова? Хохочут? Восхищаются полковником? Или, может, встают, степенно утирают усы, благодарят и, приосанившись, уходят, несолоно хлебавши? Нет, они попросту пропадают. Обычный гоголевский ляпсус: Гоголь забыл о своих героях. Их тут не сидело! Застолья — как не бывало! И Бульбы тут не сидело: «Он уже хлопотал и отдавал приказы, выбирал коней и сбрую для молодых сыновей, наведывался и в конюшни и в амбары, отобрал слуг, которые должны были завтра с ними ехать…» Самые азы повествования не даются Гоголю. Он не способен управлять сюжетом.

Буйство по поводу и без повода выведено Гоголем как положительная и типично *русская* черта. Козаки для него — русские, и тут Гоголь прав. Украина, Малороссия — имена поздние, вторичные. Имени Русь никто не отменял. С момента прихода варягов (шведов; *рутцы* по-фински — Швеция) и до сего дня Киев никогда не переставал быть Русью. Украина официально именовалась Русью в составе Речи Посполитой. Наоборот, Москва, Московия — никогда не были Русью ни для себя, ни для других. Даже Новгород, независимый и в составе Киевской

Руси, не называл себя Русью, отвергал это имя. Слово Россия тоже не из ранних, да и не московского происхождения: по Фасмеру до 1517 года оно встречается только у византийцев в форме Ρωσια — и не Московию обозначает, а посёлок в Крыму. То есть: оно попало в Москву с чужих слов и — ошибкой.

Козаки по Гоголю возникли

> «…в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия [Русь], *оставленная своими князьями* [выделено мною], была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников; когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек; когда на пожарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, *разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете* [выделено мною]; когда бранным пламенем объялся древле-мирный славянский дух и завелось казачество — широкая, разгульная замашка русской природы… Уже известно всем из истории, как *их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу* [выделено мною] от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Короли польские, *очутившиеся* [выделено мною], наместо удельных князей, властителями этих пространных земель… Не было ремесла, которого бы не знал козак… и, в прибавку к тому, — гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский, — все это было ему по плечу…»

Дивное место! «Свои князья» почему-то *оставили* Русь… а польские короли почему-то *очутились* её властителями. Да и Европу-то (то есть Западную Европу) — козаки спасли, что «уже известно всем из истории»! Отчего при такой силище козаки королей не прогнали?

Так с историей. Но не лучше и с языком. Типичный, неустранимый гоголевский наполнитель тут как тут: вместо *не зная страха* стоит «разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете» (47 букв «наместо» двенадцати по теперешней орфографии). Экая художественность!

> «Кроме рейстровых козаков, *считавших обязанностью являться во время войны* [выделено мною], можно было во всякое время, в случае большой потребности, набрать целые толпы охочекомонных: стоило только есаулам пройти по рынкам и площадям всех сел и местечек и прокричать во весь голос, ставши на телегу: «Эй вы, пивники, броварники, полно вам пиво варить, да валяться по запечьям, да кормить своим жирным телом мух! Ступайте славы *рыцарской* [выделено мною] и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцеводы, баболюбы, полно вам за плугом ходить да пачкать в земле свои желтые чоботы, да подбираться к жинкам и губить силу *рыцарскую* [выделено мною]! пора доставать козацкой славы!» И слова эти были как искры, падающие на сухое дерево. Пахарь ломал свой плуг, *бровары и пивовары* [выделено мною] кидали свои кадки и разбивали бочки, ремеслен-

ник и торгаш посылал к чорту и ремесло и лавку, бил горшки в доме — и всё, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, крепкую наружность…»

Опять «русский характер» обнаруживает «крепкую наружность» битьём горшков и ломкой бочек! Вот ведь молодцы какие: «разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете», крушат материальные ценности, пока что свои! Репетируют погром, что ли? Поверить сказанному — невозможно. И ёрничеству есаула (у Гоголя есаул — козачий подполковник, у других авторов это обычно чин, соответствующий капитанскому), его пространной крикливой речи с телеги тоже поверить затруднительно. Да пусть бы я и поверил — невозможно сочувствовать словам есаула. Не удаль в них слышится, а только бахвальство и самодовольная глупость. Разве так призывают на подвиг? Выходит, что козаки («русские» Гоголя) помышляют не о «славе рыцарской», а только о грабеже и разбое… А Гоголь помышляет о том, чтобы растянуть, разбавить пустыми словами незначительное в сюжетном отношении место, — иначе зачем он ставит подряд два слова, совершенно неотличимых по смыслу: бровары и пивовары?

Однако и польский характер тут обнаруживается, не только «русский». Дважды употреблённое слово рыцарь не только польское по происхождению, оно идёт тут не в русском, а именно в польском его значении, как и прежде случалось у Гоголя. Рыцарь у русских — Ланцелот или Тристан, Ричард Львиное Сердце, Годфрид Бульонский, крестоносец, рыцарь Тевтонского ордена, на худой конец барон фон Гринвальдус, — средневековый дворянин в латах и на коне, притом непременно западноевропейский, так что ни Новое время, ни чехи, венгры или сами поляки в строку не идут. У поляков иначе: рыцарь (от немецкого Ritter) — шляхетский ополченец, пан, севший на коня во время войны, в латах или без лат, и вовсе не обязательно средневековый; главное — что на коне, а не пешком. Исторический пан Володыёвский — тоже рыцарь, и жил он в том самом XVII веке, что и Бульба (да и родом скорее украинец, чем поляк). Козаки Гоголя — рыцари как раз в этом и только в этом значении слова, с одной только поправкой: бражничество гоголевский Бульба «почитал тоже одним из главных достоинств рыцаря».

Любопытно, что в первой версии повести (1833 года) Тарас Бульба, который «был большой охотник до набегов», ссорится с товарищами по грабежу из-за дележа награбленного («кто у меня вырвет мое, тому я буду знать, как утереть губы»), а во второй версии (1842 года) это место заменено разговорами о справедливости на козачий лад: «Самоуправно входил он в села, где только жаловались на притеснения… Сам со своими козаками производил расправу…» Легко себе представить это самоуправство без суда.

Отмечу и ещё одну гоголевскую неправду: «Кроме рейстровых козаков, считавших обязанностью являться во время войны…». Реестровые козаки не «считали обязанностью», а были обязаны, выполняли, по долгу подданных польского короля, возложенную на них королём воинскую повинность. Как сочувствовать автору, прибегающему к подобному приёму?! Зачем Гоголь меня дурачит? Во всех смыслах, включая и художественный, этот приём — ложь.

Наступило утро. Нужно ехать в Сечь. «Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних запачканных сапогов, сафьянные красные с серебряными подковами». То есть выходит, что сафьянные сапоги не могут быть запачканными?! Ведь противопоставление тут: запачканные — сафьянные! Неужто поклонники Гоголя, имя же им легион, читали и читают

это — и не спотыкаются, не видят младенческой беспомощности писателя?

Но это ещё не всё преображенье:

> «Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели; молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности.»

Чуден Днепр при тихой погоде! Усы! За одну только ночь — и так повзрослеть! Ведь вчера же было другое:

> «Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва.»

Здесь не одна неправда, а целых две. Понятно, что усов без бритвы не бывает. Но совсем непонятно, как это у Остапа и Андрия вчера был «первый пух волос», ведь младшему из них — не четырнадцать, а двадцать лет!

Мать Остапа и Андрия тяжело переживает предстоящую разлуку с сыновьями:

> «она глядела на них вся, глядела всеми чувствами [sic! чувством ненависти тоже?]… Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная [sic!] чайка, вилась над детьми своими [это когда те уже легли спать и пытались уснуть]… ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда [*кому* не увидеть?!]… когда выехали они за ворота, со всею легкостию дикой козы, несообразно летам [sic!], выбежала она за ворота, с непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного из сыновей [которого?!] с какою-то помешанною, бесчувственною горячностию…»

«Одного из сыновей»! Писатель в своём повествовании — бог-творец, он обязан знать, кого обняла «старушка», иначе он — не писатель. Непостижимый ляпсус! И если б только один! Чайки в природе бывают морские и озёрные; степные водятся только у Гоголя. «Помешанная, бесчувственная горячность», особенно после «всех чувств» сразу, есть стопроцентная беспомощная неумелость писателя. Гоголь не в состоянии изобразить самое простое и естественное человеческое чувство: материнское горе. И опять спросим: что это за «лета» такие у «старушки», она же чайка, она же коза, что ей за ворота не выбежать «с легкостию»? Ведь должен же, наконец, Гоголь опомниться и сообразить, что «старушка» не в сорок и не в пятьдесят лет родила двадцатилетнего Андрия, а скорее всего в восемнадцать!

Сцена прощания неестественна и потому отталкивающе безобразна. Бесчувственность Гоголя, его беспомощность в изображении чувств матери (которая так и остаётся безымянной) — просто в глаза бросается, да ещё усугубляется нелепостью в выборе слов.

В который раз принимаясь через силу читать Гоголя, говорю себе: не буду обращать внимания на его язык. Нет у этого писателя родного языка, он пишет на иностранном, — естественно, что язык его плох. Пусть «влияние оказывается», а не сказывается; пусть «не выключая» вместо «не исключая»; пусть человек «внутренне утомлён». Пусть этот автор, не умея сказать просто и выразительно, красуется передо мною намеренными искажениями: «гетьман» вместо гетман, «рейстровый» вместо реестровый, «наместо» вместо вместо…

Пусть! Сосредоточусь, говорю себе, на повествовании, на описании природы…

> «Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до света, вовсе не утомилась и внутренне [sic!] желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше.»

Пусть она желает внутренне, а не внешне, но позвольте… кто — «она»?! Ведь получается, что — «струя» просидела до света, а не «старушка», упомянутая где-то много выше! Ведь это младенческая неспособность управлять местоимениями! И её не оправдаешь чужим языком; такое ни на каком языке писателю не прощается… А чего стоят слова «вовсе не утомилась»? Такое про любовные утехи говорят! Сидя без движения, мудрено утомиться. Ведь нужно же было другое сказать: не смежая вежд, без сна — только и всего!

> «Два дюжих козака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота.»

Опять то же! Не «два дюжих козака» выехали за ворота, а Бульба с сыновьями! И так — абзац за абзацем, страница за страницей…

Нет, не получается читать Гоголя без оглядки на язык. Словесные колдобины идут у него непрерывным потоком, мешают следить за действиями персонажей и описаниями природы.

2

Козаки едут в Сечь. «День был серый; зелень сверкала ярко [sic!].» При этом Бульба вспоминает «протекшие лета, о которых всегда плачет козак, желавший бы, чтобы вся его жизнь была молодость».

Вот так номер! Выходит, что козак — и не козак вовсе, а такой же человек, как и все! Зря Гоголь напирает на козачью небывалость. Козак даже плачет! «Слеза тихо круглилась на его зенице». Но — здесь небывалость налицо… на лице: слеза круглится «тихо». Любимое словечко Гоголя опять употреблено не к месту — как если бы у прочих людей слеза круглилась громко. Отмечу поэтически оборот «желавший бы», не слишком обычный в русском языке.

«Сыновья были заняты другими мыслями.» Какими, Гоголь не сообщает; нужно полагать, тоже воспоминаниями, потому что Гоголь начинает пространный рассказ о бурсе и киевской коллегии (Гоголь называет её академией). Рассказ этот не даёт сколько-нибудь связной картины жизни и учёбы бурсаков. Смысловые прорехи следуют одна за другой, что и понятно: рассказ этот — всего лишь беглый пересказ того, что Гоголь и его современники прочли в романе Василия Нарежного (1780-1825) *Бурсак* (1824), первом русском историческом романе, если не вообще первом русском романе, заслужившем признание. Гимназист Гоголь знал о бурсе понаслышке, но — он обращался к подготовленному читателю, потому что Нарежного прочли все; о нём с восхищением отзывались Белинский и Добролюбов.

Мимоходом упомянутое Гоголем историческое лицо даёт возможность приблизительно датировать годы учёбы Остапа и Андрия. Исторический Адам Кисель (1600-1653) был киевским каштеляном с 1646 года, а киевским воеводой с 1649 по 1653 год. Впрочем, перед нами ведь

не история, а литература.

Учили и кормили бурсаков плохо, а наказывали «бесчеловечно», хотя бурсаки Гоголя — в большинстве своём дети «почётных сановников» (на деле бурса была казённым общежитием для беднейших семинаристов). Гоголь явно упивается описаниями истязаний. Он верит, что телесные наказания воспитывают «твердость, всегда отличающую козаков».

Бурсаки Гоголя — всему Киеву известные воры, любят «обобрать чужой сад или огород». Грабежам Гоголь сочувствует, называет их «дерзкими предприятиями». Хороший бурсак Остап «никогда, ни в каком случае, не выдавал своих товарищей», но редко предводительствовал набегами. Андрий «имел чувства несколько живее и как-то более развитые» и «чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия».

Андрий мечтает о женской любви. Он воображал себе женщину

> «свежую, черноокую, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси, нежная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокруг ее девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием.»

Мне (я ведь о себе рассказываю) это описание женщины кажется безобразным. Местоимение «ее» лишнее, потому что речь идёт не о конкретной женщине. Эпитет «нежная» приторен, потому что повторён в близком соседстве; он плохо вяжется с «мощными членами», совершенно непонятными: о ягодицах, что ли, речь? а мощь плохо вяжется с нежностью. Непонятно, отчего «упругие перси» «сверкают», ведь обнажена только рука, а не перси. Тканью, что ли, сверкают? «Облипавшее» стоит вместо *облегавшее*, да и нельзя сказать по-русски «облипавшее вокруг». Платье, «дышащее сладострастием» кажется мне глупостью. Из безобразного описания выглядывает безобразная женщина.

Бродя по Киеву (почему-то утром; когда же уроки?), Андрий видит в окне красавицу-полячку, гостившую в Киеве дочь ковенского воеводы, и влюбляется с первого взгляда.

> «В следующую же ночь, с свойственною одним бурсакам дерзостию, он пролез через частокол в сад, взлез на дерево, которое раскидывалось ветвями на самую крышу дома; с дерева перелез он на крышу и через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги.»

Следует сцена, на протяжении которой вылезший из камина дерзкий Андрий (он должен быть весь в саже и золе, но Гоголь почему-то не видит этого) — не говорит ни единого слова, а только стоит потупившись. Красавица, как ей и положено, испугалась, но — лишь на секунду. В следующую секунду она начинает смеяться, забавляться и издеваться над Андрием.

> «Красавица была ветрена, как полячка; но глаза ее, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог пошевелить рукою и был связан, как в мешке, когда дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку [манишку] с фестонами, вышитыми зо-

лотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностию дитяти, которою отличаются ветреные полячки и которая повергла бедного бурсака в большее еще смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи.»

Нельзя вообразить себе сцену более нелепую. Красавица ведь тоже ни слова не говорит, а только вертится перед чумазым двухметровым гостем… и — серьги драгоценные ему на губы вешает! Хорошо, что не лапшу на уши. Девушка, конечно, «ветрена, как полячка», но должен же обнаружится в её поведении хоть проблеск естественности! Пусть страх прошёл мгновенно (что вообще довольно странно), — отчего она лишена любопытства? Неужто стразу понимает, что перед нею не вор, а влюбленный (влюблённый-то молчит)? Спросила бы хоть имя бедняги! Наконец, и гордость её могла бы, кажется, быть задета; полячки ведь горды, не только ветрены. К ней в опочивальню проник мужчина, а она девушка на выданьи! Она знатна, а он — безвестный семинарист. Её репутация могла быть погублена в одночасье: вдруг их застанут? Всё её будущее под вопросом. Но девушка резвится!

Обычная история: Гоголь не в состоянии описать свидание чистой девушки и влюблённого юноши. Любви, которую он описывает в своём герое, сам Гоголь не знал. Он знал только грязную сторону любви, только продажную любовь (дворовые девки на хуторе матери тоже ведь раскрывали ему объятия не без надежды на вознаграждение). Внезапная слава в Петербурге не подняла Гоголя в круг высокой аристократии; в этом кругу он, по низости своего происхождения, не мог рассчитывать на взаимность со стороны нормальных девушек. Сохранились свидетельства, что и одеваться порядочно он не умел, даже когда появились деньги. Для Смирновой-Россет и ей подобных Гоголь был хоть и гениальный самородок, а не пара ни в каком смысле: не годился ни в мужья, ни в возлюбленные. Оставались проститутки, цыганки, — дело совершенно обычное и для Пушкина, у которого, однако ж, был выход в другое пространство.

Эти двое в повести Гоголя, полячка и Андрий, так и не обменялись ни словом, даже не узнали имён друг друга (имя полячки, главной героини повести, и дальше остаётся тайной для читателя — до самого конца повествования). В дверь стучат. Полячка догадлива, как бывалая любовница; она прячет бурсака под кровать, а «как только беспокойство прошло» [какое беспокойство? кто-то заглянул в комнату и не увидел сажи на полу?], велит горничной вывести Андрия на улицу.

«Но на этот раз бурсак наш не так счастливо перебрался через забор: проснувшийся сторож хватил его порядочно по ногам, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улице, покамест быстрые ноги не спасли его.»

Любит, любит Гоголь всяческие избиения. Но как странно! Ловят молодца на заборе богатой усадьбы — и только бьют. Не связывают, не допрашивают, зачем он был в доме и что успел украсть, не обыскивают, не передают пойманного вора властям. Уж не говорю о том, что глагол «хватить» по-русски требует дополнения, отвечающего на вопрос: чем?

Бульба и сыновья едут в Сечь. На привале они варят себе кулиш (кулеш; похлёбку с салом), при этом пар над котлом «отделялся и косвенно дымился на воздухе». Белинский ещё тут? Не он ли утверждал, что Гоголь как поэт заслонил Пушкина? Пусть властитель дум объяснит мне, почему эту нелепость — «косвенно дымился» — я должен считать поэзией.

И дальше в том же роде…

Козаки доехали. «Днепр веял холодными волнами…» Целых три часа они переправляются на днепровский остров Хортицу и попадают в мастеровое предместье Сечи.

> «Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи…»

А что, с позволения спросить, делали при этом слабые кожевники? И как это у нескольких крылец один навес?

> «крамари под ятками сидели с кучами кремней, огнивами и порохом…»

Крамарь, по Далю, — «мелочник, разносчик или лавочник, торгующий щепетильным, бабьим товаром», а тут — кремни да порох. Невозможно сомневаться: Гоголь производит слово крамарь от слово кремень, хотя ничего общего между этими словами нет.

> «армянин развесил дорогие платки; татарин ворочал на рожнах бараньи катки с тестом; жид, выставив вперед свою голову, цедил из бочки горелку.»

Цедить горелку — дело понятное, жид ведь шинкарь, но почему он при этом вперёд голову выставляет, да ещё свою, а не татарина или армянина? Вся деепричастная вставка — наполнитель, притом коммерческий: слова пишутся ради заполнения страницы. И ещё спрошу: для кого «дорогие платки» у армянина? В Сечи ведь нет женщин: «даже в предместьи Сечи не смела показаться ни одна женщина» (из чего опять вижу, что рыцари Гоголя и рыцари — совсем не одно и то же).

А вот и самоё Сечь. Первое, что приезжие видят, — пьяный «запорожец как лев [sic!] растянулся на дороге». На спине ли этот пьяный лев лежит, усом ли в дорожную пыль, не сказано, а ведь это не совсем безразлично читателю. «Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него.» И Гоголь любуется!

Но не все в Сечи пьяны.

> «Несколько дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сыновьями между них, сказавши: "Здравствуйте, панове!" — "Здравствуйте и вы!" — отвечали запорожцы.»

Сечь — это воля, свобода: хочу лечь на дороге — и ложусь. Но странное это удовольствие при всей его свободе. Нет чтоб на травке, под развесистой клюквой: обязательно в грязи нужно свою волю изъявить. Другим при этом — свободы меньше: нужно тебя объезжать «осторожно». Но так ведь и всегда в жизни: когда одним больше свободы, другим её меньше. Кста-

ти, в Сечи у Гоголя нет ни травы, ни деревьев. И ещё отмечу, что почтительное обращение у Гоголя — польское: панове.

> «Наконец они миновали предместие и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном или, по-татарски, войлоком. Иные уставлены были пушками. Нигде не видно было забора или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместье.»

Перед нами стандартная, повторяющаяся писательская ошибка Гоголя: описание задним числом. Не было прежде сказано ни слова о «низеньких домиках» и «низеньких столбиках» в предместьи. Это ошибка начинающих писателей, не умеющих работать с текстом. Вторая ошибка тут не стилистическая, а фактическая: забор в Сечи точно был. Сечь была укреплением с частоколом из брёвен с *сечью*: с *высеченными* острыми краями, откуда и название крепости. И эти два «низеньких» подряд! Неужто Гоголь не слышит, что это какофония?

> «Сечь состояла из шестидесяти с лишком куреней, которые очень похожи были на отдельные, независимые республики, а еще более на школу и бурсу детей, живущих на всем готовом. Никто ничем не заводился и ничего не держал у себя; все было на руках у куренного атамана, который за это обыкновенно носил название батька́. У него были на руках деньги, платья, весь харч, саламата [мучной кисель], каша и даже топливо; ему отдавали деньги под сохран. Нередко происходила ссора у куреней с куренями: в таком случае дело тот же час доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали друг другу бока, покамест одни не пересиливали наконец и не брали верх, и тогда начиналась гульня.»

Деньги упомянуты дважды: зачем бы такое? что это, как не топтание на месте? То же и с харчем: если уже сказано «весь харч», то зачем после этого говорить о саламате и каше? (Обратный порядок был бы уместен, но Гоголь в самом простом случае не умеет распорядится словами.) И почему «*даже* топливо»? Уж топливом-то для всей казармы как раз и может заведовать только один человек.

Курени в Сечи — батальонные казармы, в каждом жило от 50 до пятисот человек. У Гоголя куреней больше шестидесяти, на самом же деле их всегда было ровно тридцать восемь, и каждый — со своим именем (об именах Гоголь тоже вспомнит задним числом). Занятно, что и на турецком Дунае, куда переехала Сечь, выгнанная Екатериной с Днепра, число куреней не изменилось.

Описать запорожский курень Гогольне может; сам не видит и нам не показывает, довольствуется колоритным словечком, новым для петербургского читателя. Не сообщает даже того, что на курень в Сечи могло приходиться два, а то и три барака. Представление о запорожском курене потому важно, что вообще на Украине курень — любое жильё или хоть шалаш, обычно же — просто семейная хата. Гоголь мог не знать деталей, что ещё не беда, но не попытаться вообразить себе эти детали — ошибка, показывающая нехватку писательской чуткости, именуемой талантом, — ведь читатель ждёт описания знаменитой крепости, а получает

кукиш. (Что до нехватки воображения, совершенно обычной у Гоголя, то она всегда выявляется как раз при введении деталей, в их избыточности и бессвязности.)

Делаю шаг в сторону. Беру для сравнения с Гоголем — Флобера, его главную писательскую неудачу: *Саламбо*. Описание Карфагена у Флобера уродливо и неправдоподобно, Флоберу не на что было опереться (римляне постарались стереть всякую память о своём главном противнике), но — тщательно. Человек работал над текстом. Ни следа подобной работы у Гоголя я не вижу. Например, не вижу, где запорожцы держали и пасли коней, а ведь пеший козак — не «рыцарь» (в гоголевском смысле этого слова).

Не умея описать Сечь, Гоголь отделывается восклицанием:

> «Так вот она, Сечь! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! вот откуда разливается воля и казачество на всю Украйну!»

«Вылетают» — «как львы»! Это, пожалуй, посильней будет советской песни «Шагай вперёд, соколиное племя!».

Что до жизни в Сечи, то она — сплошная гульба как признак «широкого размета душевной воли»:

> «Нельзя было видеть без внутреннего движенья, как всё *отдирало* [выделено мною] танец самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо свет и который, по своим мощным изобретателям, назван козачком… Вся Сечь представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество… Оно не было сборище бражников, напивавшихся с горя, но было просто бешеное разгулье веселости.»

Это в будни-то! Без повода!

В запорожцы, по Гоголю, принимали всех, не спрашивая даже имени, — вероятно, потому что всяк был по определению силач и храбрец. Кошевой задавал только вопрос, верует ли новичок во Христа, приказывал перекреститься и отпускал со словами: ступай в любой курень. В реальной Сечи было не совсем так. Новичок должен был усвоить войсковые порядки и показать себя в деле, на что уходило до трёх лет. Лишь после этого его принимали как равного.

Отмечу без упрёка главную историческую ошибку писателя. По теперешним сведениям славяне, в том числе и из католических стран, во все времена составляли в Сечи всего лишь 35-40%. Там были представлены: Турция и вообще юго-западная Азия, Западная Европа (в основном средиземноморская, вплоть до Португалии), Восточная Европа (включая Грецию) и Кавказ; были там и выходцы из евреев. Случались не славянские гетманы, например, Тарас Трясило, он же Гассан Трасса, крымский татарин, дважды воевавший против Московии, водивший Сечь против родного Крыма, возглавивший восстание против Речи Посполитой, даже в Тридцатилетней войне участвовавший (на стороне Габсбургов). Если верно, что все в Сечи считались православными, то перед нами полное равнодушие к религии. Происхождением кандидатов не интересовались. Брали в запорожцы и дворян, и рабов.

У Гоголя в предместьи Сечи — «люди всех наций», а в самой Сечи — только «русские»,

русские из русских, южные россияне, то есть украинцы.

> «Рассказы и болтовня среди собравшейся толпы, лениво отдыхавшей на земле, часто так были смешны и дышали такою силою живого рассказа, что нужно было иметь всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранять неподвижное выражение лица, не моргнув даже усом, — резкая черта, которою отличается доныне от других братьев своих *южный россиянин* [выделено мною].»

Моргание усом уже было в *Утопленнице*, мы уже восхищались этой художественностью, а вот чтоб «Рассказы… дышали силою живого рассказа», этого не было, это новая упоительная поэтическая вольность. Да и «лениво отдыхающие» — в том же роде. Такого рода поэзия идёт в *Бульбе* сплошным потоком. Закрываю глаза, тыкаю наугад пальцем в страницу для выбора фразы — и получаю:

> «По смуглым лицам видно было, что все были закалены в битвах…»

Отчего в битвах, а не на пляже? Разве можно себе представить незагорелого пастуха?

А эпитеты каковы! Смерть у Гоголя «бледная», гроб — «ужасный»…

> «Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сечи. Остап и Андрий мало занимались военною школою. Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом…»

Где жили приехавшие, в каком курене, на каких правах? Вольнослушателями или уже братьями, сдавшими деньги батьку́ и евшими саламату? Начисто забыты десять человек слуг, с которыми Бульба приехал а Сечь. Отосланы ли они домой, стали ли запорожцами, — об этом Гоголь не сообщает. Не сходятся у Гоголя концы с концами, какой ракурс ни выбери. Не видим Сечи. Рассказ не «дышит силою живого рассказа».

Однокоренные слова сплошь и рядом стоят у Гоголя в затылок друг другу, часто даже в одной фразе. Гоголь явно не понимает, что это недостаток:

> «Тут было множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели *благородное* [выделено мною] убеждение мыслить, что все равно, где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично *благородному* [выделено мною] человеку быть без битвы…»

Слова «образовавшихся» и «мыслить» не несут в этом куске никакого смысла: это наполнители, но смысл сказанного замечателен: «благородным» Гоголя всё равно, на чьей стороне воевать; то есть они — разбойники. Чему тут же и подтверждение нахожу:

> «Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов во всякое время могли найти здесь работу.»

С «рыцарями» Гоголя, кажется, всё ясно: они продажны и корыстолюбивы… но корыстолюбцами Гоголь называет тех отважных людей, которые обслуживает «рыцарей»:

> «Только побуждаемые сильною корыстию жиды, армяне и татары

> осмеливались жить и торговать в предместьи… Впрочем, участь этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка… потому что, как только у запорожцев неставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром.»

Удалые! И — это не считалось воровством. За воровство в Сечи по закону забивали на смерть… то есть за воровство козака у козака. А за убийство (козаком козака) — живьём в землю закапывали, причем вместе с убитым (в «ужасном гробу»). Тут опять путаница. Христиан хоронят в земле, освящённой церковью, но на церковной земле — не казнят. Козаки Гоголя — христиане только по имени.

4

На протяжении многих станиц ничего не происходит, кроме издевательства над русским языком, невольного и намеренного. Наконец нудные невразумительные описания сменяются действием: Тарас, без году неделя в Сечи, идёт к кошевому атаману (выборному главе Сечи) и говорит ему, что «пора бы погулять запорожцам» — то есть не пображничать (они только этим и заняты), а повоевать (и пограбить). Кошевой отвечает: негде; Сечь обещала султану мир. Тарас возражает: слово, данное бусурману, христианин волен и даже обязан нарушить — и этим… послужить *отчизне*. Какой отчизне?! Ведь Сечь в подданстве у польского короля! Если послужить Украине или Московии, то ведь, кажется, против короля нужно идти, не против султана! За отчизну-то! Но герои Гоголя соображают плохо, если речь не о парче или дукатах. Тарас продолжает спорить с кошевым и выставляет уже личный довод: его, Тараса, сыновьям нужно попробовать себя в бою. Довод хоть куда, но кошевой и тут не уступает. Тогда — Тарас решает про себя *отомстить* кошевому! Какова же козацкая месть?

Тарас задаёт приятелям попойку. Хмельные приятели, «в числе нескольких человек», бьют на площади в литавры. На звон литавр собираются «черные кучи запорожцев» (рада), и хмельные требуют низложения кошевого.

> «Некоторые из трезвых куреней хотели, как казалось, противиться; но курени, и пьяные и трезвые, пошли на кулаки. Крик и шум сделались общими. Кошевой хотел было говорить, но, зная, что разъяренная толпа может за это прибить его насмерть, что всегда почти бывает в подобных случаях, поклонился очень низко, положил палицу и скрылся в толпе.»

Забить насмерть — за обращение к сходке! «Всегда почти бывает»! Вот это братство, вот это демократия! Хорошо помню, с какой брезгливостью я прочёл это описание в детстве. Перед моим мысленным взором стояло тогда афинское народное собрание, ἐκκλησία, с рассудительными речами и подсчётом голосов. С брезгливостью читаю Гоголя и сейчас. Нет у меня добрых чувств к этим «рыцарям». Вот они, «гордые и крепкие, как львы!»

Тарас подначивает приятелей выбрать новым кошевым своего давнего боевого товарища и преуспевает в этом. Процедура избрания завершается помазанием нового атамана… — чем? размокшей землёй, попросту грязью.

Вся сцена сходки у Гоголя до крайности неубедительна, недостоверна, не прописана: не видно даже кулачного большинства против старого кошевого, почему-то сразу струсившего, а

нового выбирают без кулаков и словно бы нехотя; слышны только выкрики. Почему прошёл кандидат Тараса, а два других были отвергнуты, совершенно неясно; ведь сказано же было, что Тарас подпоил всего «нескольких человек». Как обычно у Гоголя, и с языком не всё чисто: конструкция «как казалось» — типичный пример неумелости: либо «как» тут лишнее, либо уж требуется дополнение: «как (кому-то) казалось».

> «Таким образом кончилось шумное избрание, которому, неизвестно, были ли так рады другие, как рад был Бульба: этим он отомстил [sic!] прежнему кошевому… Толпа разбрелась тут же праздновать избранье, и поднялась гульня, какой еще не видывали дотоле Остап и Андрий. Винные шинки были разбиты; мед, горелка и пиво забирались просто, без денег; шинкари [читай: жиды; отважные люди, между прочим!] были уже рады и тому, что сами остались целы. Вся ночь прошла в криках и песнях, славивших подвиги…»

Здесь у Гоголя появляется слово мёд, которого в прежних его сочинениях не было, — слово хоть и русское, а вместе с тем и очень польское; шляхта в XVII веке пьёт мёд, не горилку. Праздничная «гульня», место в сюжетном отношении пустое, как всегда описана у Гоголя многословно и путано. «По улицам» (оказывается, в Сечи есть улицы!) проходят «толпы музыкантов». Что до козаков, то хоть они все «гордые и крепкие, как львы», но ни один не добирается до своего куреня, все спьяну валятся прямо на землю, а иной и на колоду, в чём Гоголь приглашает меня усмотреть их доблесть. «Широки натуры русские»!

5

Новый кошевой согласен с Бульбой: нужно идти на султана. Что до козацкого обещания султану, то его можно обойти хитростью. Вновь собрана рада. Кошевой обращается к запорожцам:

> «Многие запорожцы позадолжали в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один чорт теперь и веры неймет… Я всё веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурманами: мы обещали султану мир… войны не можно начать. Рыцарская [sic!] честь не велит. А по своему бедному разуму вот что я думаю: пустить с челнами одних молодых…»

Рада не согласна: «Веди всех!» То есть: мы все хотим пограбить. Дело решено. Все кидаются конопатить и смолить челны. Извлекают из подводной (!) *скарбницы* войсковою казну. («Скарб — золото и драгоценности по-польски, не по-русски.) Но в самый разгар подготовки к походу вдруг являются какие-то пришлые, никому не ведомые люди с вестью о беде «на гетьманщине». Там творится ужас что:

> «Церкви святые теперь не наши… у жидов они на аренде. Если жиду вперед не заплатишь, то и обедни нельзя править. И если рассобачий жид не положит значка нечистою своею рукою на святой пасхе, то и святить пасхи нельзя… уже, говорят, жидовки шьют себе юбки из поповских риз… И ксензы ездят теперь по всей Украйне на таратайках и

> запрягают уже не коней, а православных христиан… уж теперь гетьман, зажаренный в медном быке, лежит в Варшаве, а полковничьи руки и ноги развозят по ярмаркам на показ всему народу…»

Понятно: католики и униаты теснят православных, а жиды приплетены для красного словца, но зато первыми, для разжигания гнева и — как существа самые беззащитные. Весть, что убиты гетман и полковники, вздор про таратайки, слухи про юбки, — это во вторую очередь сообщается.

«Все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву… молчали и между тем в тишине совокупляли грозную силу негодования». Плохо совокупляли! Никому в голову не пришло усомниться в полученной новости, спросить: не выдумка ли это, не клевета ли, про медного быка, про аренду церквей? (История Польши ничего такого не знает.) Поверили первому встречному, безымянному незнакомцу — и ну «совокуплять грозную силу негодования».

Борьба между католиками и православными «на гетьманщине» — не новость, Брестская уния в 1556 заключена (мы с Бульбой ведь в XVII веке находимся). Никому из запорожцев даже то в голову не приходит, что новостей две, и одна не вяжется с другою: когда ж это ляхи были заодно с жидами? Никто ни в чём не сомневается!

> «Тут уже не было волнений легкомысленного народа: волновались всё характеры тяжелые и крепкие, которые не скоро накалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили в себе внутренний жар.
>
> — Перевешать всю жидову! — раздалось из толпы. — Перетопить их всех, поганцев, в Днепре!
>
> Слова эти, произнесенные кем-то из толпы, пролетели молнией по всем головам, и толпа ринулась на предместье с желанием перерезать всех жидов.»

Вижу характеры не легкомысленные, а тяжёлые и крепкие! Не скоро они накалялись!

В Сечи — всего одна церковь, и все знают, что она не «на аренде» у местных жидов; можно обедню править, можно и пасху святить (чего, однако ж, у Гоголя никто не делает). Не шьют себе жидовки в Сечи юбок из поповских риз. За что же убивать невинных? А вот за что: они безоружны и при деньгах, можно безнаказанно пограбить да «погулять».

На минуту кажется, что погром можно предотвратить. В предместьи просит слова «высокий и длинный, как палка, жид, высунувши из кучи своих товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхом», — и Бульба, «который всегда любил выслушать обвиняемого» (!), разрешает ему говорить. Еврей говорит, что евреи никогда не брали сторону католиков, что католики евреям враги, а запорожцы — братья. Братья! Неслыханное оскорбление! Это неудачное слово решило судьбу несчастных.

> «Бедные сыны Израиля, растерявши все присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жидовок; но козаки везде их находили. Жидов расхватали по рукам и начали швырять в волны. Жалобный крик раздался со всех сторон; но суровые запорожцы только смеялись,

видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе.»

Суровый Гоголь тоже смеётся и меня приглашает. Не стану скрывать: в детстве, читая об этом погроме, я, во-первых, поверил Гоголю; поверил описанию погрома, не растянутому обычным у Гоголя пустословием, а компактному, и — поверил, что евреи все трусы. Библии я не знал. О еврейском героизме на фронтах не слыхивал. Не знал слов де Голля «синагога дала больше бойцов, чем церковь». В советском послевоенном воздухе висело, что евреи не воевали, в моей же семье и самое слово еврей не произносилось.

А во-вторых — картина погрома у Гоголя не запала мне в душу, не тронула меня. Я не считал себя евреем и, конечно, не был евреем. «Мелкий дух», «заползывали (!) под юбки», «жалкая рожа, исковерканная страхом», «белые, как глина» — как советскому дворовому мальчишке сочувствовать такому? «Шлема и Шмуль в изодранных яломках» ко мне не относились. («Яломка» или «яломок» — так Гоголь услышал слово ермолка.)

По крайне мере один жид уцелел в ходе погрома: тот самый оратор. Оказалось, что жид Янкель некогда выкупил Дороша, брата Тараса Бульбы, из турецкого плена за восемьсот цехинов. Великодушный Тарас укрыл Янкеля под телегой. Цехин — золотая венецианская монета весом в три с половиной грамма. Янкель заплатил туркам 2.8 кг золота. Покойный Дорош стоил того, он был «воин на украшение всему рыцарству», не то что Янкель с его «жалкой рожей» или «Шлема и Шмуль в изодранных яломках». Вместе с Гоголем я изумлялся этим отвратительным еврейским именам, в самом звуке которых уже слышалась низость. Другое дело Дорош, Дорофей, дар божий на языке классических эллинов.

Уцелевший Янкель у Гоголя начинает снова торговать к вечеру в день погрома. Не видно, чтобы он сокрушался по убитым родственникам и единоверцам. Разве мог я хоть на секунду отождествить себя с этим торгашом?

Покончив с жидами, козаки вернулись к делу.

> «Все бросили вмиг берег и снарядку челнов, ибо предстоял теперь сухопутный, а не морской поход, и не суда да козацкие чайки, а понадобились телеги и кони. Теперь уже все хотели в поход, и старые и молодые, все, с совета старшин, куренных, кошевого и с воли всего запорожского войска, положили идти прямо на Польшу, отмстить все зло и посрамленье веры и казацкой славы, набрать добычи с городов, зажечь пожар по деревням и хлебам, пустить далеко по степи о себе славу.»

Опять концы с концами у Гоголя не сходятся, и опять — за счёт пустопорожних, ненужных слов: нигде прежде не сказано, что в поход хотели одни молодые или одни старые. Наоборот: рада орала в один голос: «Веди всех!» Идти положили «прямо на Польшу», а славу о себе пустить — «по степи». Слова у Гоголя, как его козаки, не слышат друг друга, толпятся без всякого смысла.

Описание сборов в поход можно сократить вдвое без потери скрупула содержания или художественности, наоборот, с увеличением убедительности и смысловой ёмкости. Пустословие — в каждом абзаце. Повесть полна упаковочной ваты. Ни на минуту не прекращаются и словесные выверты, будто бы красочные, а на деле уродливые. Достаточно того, что сбруя у Гоголя — конная, а не конская.

Что до козачьего сечевого братства, то ему — лишь бы «погулять». Не против султана, так

против законного короля.

Кошевой произносит речь. Он велит не брать в поход лишнего, взять каждому козаку двух коней, одну сорочку [что за новость? что за сорочка, когда у козака — всегда свитка!] и «двое шаровар», а в походе в качестве военной добычи брать (с мирного населения, понятно) не ткани, но лишь золото и серебро. И —

> «если кто в походе напьется, то … как собака, будет он застрелен на месте и кинут без всякого погребенья на поклев птицам, потому что пьяница в походе недостоин христианского погребенья.»

Всё готово тут же, в день погрома. Сборы длились не дни, а часы. «Скоро далеко-далеко вытянулся козачий табор по всему полю…» С левой или с правой стороны Днепра, не сказано. О переправе с острова — ни слова (помнится, Бульба с сыновьями переправлялся на Хортицу целых три часа, а тут войско с обозом и — и мигом). Когда табор уже вытянулся, Гоголь спохватывается и сообщает задним числом (обычный его промах), что священник в Сечи служил перед выступлением молебен и окропил всех «рыцарей» святою водою. До сего момента повести Тарас с сыновьями в церкви ни разу Гоголем не показаны; и тут тоже не поименованы. Любопытная деталь: Гоголь не сообщает о численности выступившего в поход войска. Сколько было запорожцев? Десять тысяч? Тридцать тысяч? Все ли вышли?

Описание первых подвигов рыцарей растянуто до неприличия. Слова пишутся ради заполнения страницы. Концы с концами не вяжутся. Выписываю для себя главное.

> «Скоро весь польский юго-запад сделался добычею страха… Дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли везде запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная кожа с ног по колена у выпущенных на свободу, — словом, крупною монетою отплачивали козаки прежние долги… величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем… [кошевой иронически говорит аббату:] это козаки еще только зажигают и раскуривают свои трубки.»

Слово трубка полностью вытеснило у Гоголя слово люлька, на которое он так усиленно делал упор в *Диканьках*. В конструкции «сокрушительное пламя» первое слово — наполнитель.

Аббатства, с шестого века по Новое время, были главными культурными очагами в Европе. Библиотеки, бережно копируемые древние рукописи, летописи — вот что такое было аббатство. Может, вот в этом «величественном» аббатстве, сожжённом козаками, хранилась последняя копия второй части *Поэтики* Аристотеля, та самая, утраченная, вокруг которой Умберто Эко строит свой роман *Имя Розы*. В аббатствах началась европейская архитектура, её романский и готический стили.

Гоголь говорит о «полудиком веке» — спору нет, были в XVII веке жестокости в Европе, но было ведь там и другое: великодушие, жертвенность и рыцарство, не гоголевское, а настоящее. Были представления о дворянской чести, о христианском добродетели. Робин Гуд и шиллеровские разбойники возникли не на пустом месте. Рыцари Гоголя ведут себя не как европейцы, не как христиане (сдирание кожи — казнь хоть и древняя, а в XVII веке типично турецкая). Гоголь пишет в просвещённом девятнадцатом веке, отчего же он с таким диким

сладострастьем упивается жестокостями по отношению к беззащитным? Аморализм и антисемитизм, скажем к слову, в художественном отношении вообще нейтральны, но они немедленно становятся недостатками у писателя неумелого и недалёкого, у которого небо с овчинку. Гоголь с его погромами — как раз тот самый случай.

Мне, я знаю, скажут: когда в 1099 году настоящие рыцари захватили в ходе первого крестового похода Иерусалим, мирных жителей убивали столь же немилосердно, и меч христолюбивого воинства совершенно так же был направлен в первую очередь не против сражавшегося противника, не против доблестных мусульман («язычников»), а против евреев, которых в городе убили поголовно. Не спорю. Однако ж и в *Деяниях франков*, в Gesta Francorum, и других источниках я не припомню описания жестокостей ради жестокости. Да пусть бы я и ошибся; но ведь между рыцарскими подвигами первых крестоносцев и подвигами запорожцев прошло всё-таки пять с половиной веков. Западная Европа эпохи Бульбы не знала войны против мирных жителей. Казни лютые — особая страсть Гоголя и его запорожцев. Гоголь именно упивается всеми этими жестокостями, смакует их. «Потешная была наука» — вот его оценка избиения детей и женщин.

Бульба гордится сыновьями, участвовавшими в погромах. «В один месяц возмужали и совершенно переродились только что оперившиеся птенцы и стали мужами.» (Да-да: в одной фразе «возмужали» и «стали мужами», вот ведь мастерство какое!) «Стали мужами» — в ходе грабежей, до первого настоящего сражения, до первой раны… Особенно хорош Остап: «рыцарские его качества уже приобрели широкую силу качеств льва». Эта возмутительная галиматья писана при жизни Пушкина! Белинскому она кажется поэзией!

Сыновья Бульбы в равной мере отважны, но отвага у них разная. Остап никогда не терялся, но «мог вымерять всю опасность». — «О! да этот со временем добрый будет полковник! — говорил Бульба». Андрий же в своей отваге — безрассуден. Редкое дело у Гоголя: концы с концами сходятся, эта характеристика Андрия, его безрассудная отвага, уже подтверждена сюжетным ходам, безумной выходкой бурсацкой поры, залезанием в боярский дом через дымовую трубу.

> «Войско решилось идти прямо на город Дубно, где, носились слухи, было много казны и богатых обывателей… Жители решились защищаться до последних сил и крайности и лучше хотели умереть на площадях и улицах перед своими порогами, чем пустить неприятеля в домы. Высокий земляной вал окружал город… женщины тоже решились участвовать [в защите города]…»

«Решилось… решились...» Гоголь глух к слову, но он и к смыслу глух: он прямо говорит, что поход запорожцев — грабительский: «много казны»! Вот они, «прежние долги» поляков перед Сечью! Вот они, «отчизна и вера»!

Польская Дубна — волынский город с магдебургским правом, крупный культурный центр. В Дубне, среди прочих учёных, жил Мелетий Смотрицкий (точнее: Смотрисский), издатель (зря его называют автором) первой русской грамматики (Ґрамма́тіки Славе́нския пра́вилное Сѵ́нтаґма, Вильно/Евье, 1618/1619), книги, замечательной в двух отношениях: тем, что первый учебник русского языка появился за границей: в Речи Посполитой; и тем, что в книге, в самом её названии, впервые прозвучало слово *славяне* — вместо повсеместного *словени*, —

едва уловимый, но важный смысловой поворот. Что до земляного вала, то о нём я сведений не нахожу. В Дубне были крепостные стены, была и есть (если москали её не разбомбили) крепость.

Действие в повести, и без того вялое, останавливается на несколько страниц; идёт сплошная поэзия.

> «Но неизвестно будущее, и стоит оно перед человеком подобно осеннему туману, поднявшемуся из болот… На небе бесчисленно мелькали тонким и острым блеском звезды… разметавшиеся на траве запорожцы спали в картинных положениях… Тяжелые волы лежали, подвернувши под себя ноги, большими беловатыми массами и казались издали серыми камнями… что-то величественное и грозное примешалось к красоте июльской ночи. Это были зарева вдали догоравших окрестностей… Там горел монастырский сад… чернело висевшее на стене здания или древесном суку тело бедного жида или монаха… стены тихо вспыхивали отблеском отдаленных пожарищ…»

Вижу, что пожарище для Гоголя — большой пожар, что хоть и допустимо, да уж очень провинциально. Хороши и беловатые массы, казавшиеся серыми камнями. Жму руку Белинскому.

Всё спит, не спится только Андрию, он испытывает «внутреннее [sic!] волнение», он «чувствует какую-то духоту на сердце». Начиная с этого места рассказ, по-прежнему вялый и многословный, оживляется явным присутствием Вальтера Скотта.

6

Во мраке ночи к задремавшему Андрию приходит татарка, служанка той самой «панночки», по-прежнему безымянной, к которой Андрий залезал в Киеве через дымовую трубу. Панночка — в осаждённом Дубне и второй день ничего не ела, потому что в городе голод (Гоголь забыл, что дело происходит на другой день после начала осады). Татарка просит для своей госпожи «ради Христа и святой Марии кусок хлеба». Она пришла подземным ходом. Андрий принимает невероятное и совершенно безумное по смелости решение: хочет сам отнести хлеб панночке в город… но «сердце его билось», это ж надо! — и собирается он целых две страницы. Наконец, Андрий и татарка тронулись в путь. Они шли лощиной,

> «по дну которой лениво пресмыкался поток… На вершине ее [покатости] покачивалось несколько стебельков полевого былья, над ними поднималась в небе луна в виде *косвенно обращенного* [выделено мною] серпа из яркого червонного золота…»

«Пресмыкался поток» — похвалим эту художественность, хотя вообще пресмыкаться значит ползти на брюхе. Вся конструкция «На вершине ее покачивалось несколько стебельков полевого былья» — наполнитель: она не рисует картины, ничего не выражает. «Косвенно обращённый» — пример явного непонимания смысла слов. *Обращённого* — требует дополнения: *куда* обращённого? *Косвенно* — прямая бессмыслица, а то и хуже: стоит вместо *косо*. Гоголь хотел сказать: *повёрнутого косо*, а сказал вздор.

Путники идут подземным ходом, который был некогда ещё и убежищем для каких-то гонимых; в углублениях встречаются гроба и человеческие кости, «рассыпавшиеся в муку» (если так, откуда же видно, что они человечьи?). В середине хода — часовня. Здесь, на своём пути в лагерь запорожцев, татарка оставляла светильник.

> «Взявши его, она зажгла его огнем от лампады. Свет усилился, и они, идя вместе [!], то освещались сильно огнем, то набрасываясь темною, как уголь, тенью, напоминали собою картины Жерардо della notte.»

Так дано имя художника в издании 1952 года. Не знаю, как было в оригинале. Правильно: Gherardo delle Notti, Ночной Жерардо (Gerrit van Honthorst, 1592-1656). Нечего и говорить, что в советских комментариях не сказано о художнике ни слова. Отмечу очень белинскую поэтичность: путники «набрасывались темною, как уголь, тенью». «Идя вместе» — тоже поэзия, разве нет?

Подземный ход вывел татарку и Андрия прямо в монастырскую церковь. Церковь каменная, с витражами, от которых на пол падают «голубые, желтые и других цветов [sic!] кружки света». «Рёв органа» переходит «в небесную музыку… и дивился Андрий с полуоткрытым ртом величественной музыке».

Катакомбы, Жерардо, собор, витражи, орган — мы в Европе! Этот кусок из лучших во всей повести. Отмечу ещё вот что: тайное проникновение в осаждённый город спасителя с благой ношей — аллегория зачатия. Гоголь ничего подобного сказать не хотел, гоголеведы тоже этого не понимают, а ведь эта аллегория очевидна.

Хороший кусок, да. Но Гоголь-кунктатор тут как тут и норовит всё испортить своими несносными наполнителями и нудными длиннотами.

> «У одного из алтарей, уставленного высокими подсвечниками и свечами, стоял на коленах священник и тихо [!] молился. Около него с обеих сторон стояли также на коленах два молодые клирошанина в лиловых мантиях, с белыми кружевными шемизетками [манишками] и с кадилами в руках. Он молился о ниспослании чуда: о спасении города, о подкреплении падающего духа, о ниспослании терпения, об удалении искусителя, нашептывающего ропот [!] и малодушный, робкий плач на земные несчастия. Несколько женщин, похожих на привидения, стояло на коленах, опершись и совершенно положив изнеможенные головы на спинки стоявших перед ними стульев и темных деревянных лавок; несколько мужчин, прислонясь у колонн, на которых возлегали боковые своды, печально стояли тоже на коленах.»

Священник хоть и «тихо» молился, но Андрий (видно, хорошо знавший по-латыни) услышал молитву во всех её деталях (в том числе и про «плач на несчастия»). Случись такое у Вальтера Скотта, священник, представленный столь подробно, непременно оказался бы действующим лицом с некоторой ролью в повести. У Гоголя он — минутная декорация, наполнитель. И весь этот кусок — наполнитель. Ни священник, ни прочие люди в церкви ничего в дальнейшем не делают… а колоритного запорожца с мешком хлеба за спиной, стоявшего в церкви несколько минут, не замечают. Вальтер Скотт, Пушкин, Марлинский — уложили бы

эту сцену в две фразы.

Татарка выводит Андрия на улицы. Следует описание города с архитектурными излишествами.

> «Площадь обступали кругом небольшие каменные и глиняные, в один этаж, домы с видными в стенах деревянными сваями и столбами во всю их высоту, косвенно [sic! читай: косо] перекрещенные деревянными же брусьями… На одной стороне, почти близ церкви, выше других возносилось совершенно отличное от прочих здание, вероятно [sic!], городовой магистрат или какое-нибудь правительственное место. Оно было в два этажа, и над ним вверху надстроен был в две арки бельведер, где стоял часовой; большой часовой циферблат вделан был в крышу.»

Похоже, дома́ в Дубне были в тюдоровском стиле. Об этом говорят «косвенно» перекрещенные брусья. Слово *косвенно* встречается в повести в третий раз, и теперь уже невозможно сомневаться: оно у Гоголя идёт в значении *косо*, *наискосок*. Подробно описано здание, о котором Гоголь не знает, что оно такое, — ляпсус несомненный. Отмечу ещё двух часовых в затылок: часового солдата и часовой циферблат, — неприкрытое стилистическое уродство. Тут же — и уродство архитектурное: циферблат, вделанный в крышу.

На улицах Дубна лежат мёртвые и умирающие. Андрий спотыкается о труп жидовки, с которого не сняты красный шелковый платок и жемчуга. Возле трупа лежит ребёнок (жидёнок), «судорожно схвативший рукою за тощую грудь ее и скрутивший ее своими пальцами от невольной злости». С крыши дома

> «висело вниз [не наверх!] на веревочной петле вытянувшееся, иссохшее тело. Бедняк не мог вынести до конца страданий голода и захотел лучше произвольным самоубийством ускорить свой конец.»

Вся фраза «Бедняк… конец» — наполнитель. «Висело вниз», «произвольное самоубийство», «не мог вынести до конца и… ускорить конец», — как такое читать? Как такое вынести? Нас дурачат каждым словом! Автор ни одной фразы неспособен чисто написать.

Город, говорит татарка, сдался бы, да «вчера утром полковник, который в Буджаках, пустил в город ястреба с запиской, что он идет на выручку». Святители небесные! Почтовый ястреб! Когда кончится этот поток уродливых слов и смысловых нелепостей?

Татарка приводит Андрия к богатому дому.

> «Наружная широкая лестница из крашеных кирпичей выходила на самую площадь. Внизу лестницы сидело по одному часовому [!?]… Они не спали и не дремали, но, казалось, были нечувствительны ко всему; они не обратили даже внимания на то, кто всходил по лестнице. …Они [татарка и Андрий] вступили в первую комнату, довольно просторную, служившую приемною или просто переднею [не знаешь, что за комната, не произноси лишних слов!]; она была наполнена вся сидевшими в разных положениях у стен солдатами, слугами, псарями, виночерпиями и прочей дворней, необходимою для показания сана

польского вельможи.»

В своём упоении пустословием Гоголь совсем заговаривается: даже виночерпии идут у него во множественном числе! Мы словно в Вавилон попали, на Валтасаров пир. Хороша и фраза «Внизу лестницы сидело по одному часовому». Писатель забыл добавить «с каждой стороны»! Вот уж писатель!

Понятно, что в «приемной или просто передней» (писатель не знает, куда он привёл сваоих героя!), полной народу, никто запорожца в упор не видит — совершенно так же, как Гоголь не видит уродливых нелепостей в своём тексте.

Слова, из которых каждое второе — лишнее, идут оголтелой толпой, и тут же — лакуны, пропуски слов необходимых по смыслу. Пробираемся через это бурелом, и вот, наконец-то, перед запорожцем — безымянная Она… та самая «панночка».

> «Казалось, как будто вся фигура ее хотела броситься к нему и вдруг остановилась.»

Вытираю пот со лба… Хорошо, что «фигура не бросилась»!

Красота «панночки» удесятерилась, голод тому не помешал. Не сказано, чтобы «мощные члены» отощали.

> «Полное чувство выражалося в ее поднятых глазах, не отрывки, не намеки на чувство, но всё чувство [какое чувство, боже милостивый?!]. Волосы, которые [пропускаю кучу пустых слов] согнутыми волосами упадали на грудь. Казалось, все до одной изменились черты ее.»

Волосы — «волосами упадают»! Чувство, пусть хоть самое полное, должно быть поименовано: чувство любви, чувство ненависти. Но где уж там! При описании девушки Гоголь теряет всякую способность соединять слова со смыслами. Слово *казалось* торчит в каждой фразе.

В Киеве «панночка» и свалившийся из дымовой трубы Андрий не обменялись ни единым словом. Здесь между девушкой и юношей возникает диалог (заметим, что переводчик не нужен, язык у них общий). Вот первое, что слышит Андрий:

> «— Нет, я не в силах ничем возблагодарить тебя, великодушный рыцарь. Один Бог может возблагодарить тебя; не мне, слабой женщине…» и т. п.

Да неужто?! Женщина не может отблагодарить влюблённого в неё мужчину?! Но Андрий — не требует награды. Он, к его чести, потерял дар речи от волнения (так следовало бы сказать писателю, в пяти словах; но нет, Гоголь заливается на полстраницы, гремит украинским соловьём, и всё попусту). Наконец, запорожца прорвало:

> «— Царица! — вскрикнул Андрий, полный и сердечных, и душевных, и всяких избытков [ужас! что автор несёт!], — что тебе нужно? чего ты хочешь? — прикажи мне! Задай мне службу самую невозможную, какая только есть на свете, — я побегу исполнять ее! Скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один человек, — я исполню, я

> погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь святым крестом, мне так сладко… У меня три хутора, половина табунов отцовских — мои [Андрий у Гоголя уже хоронит Тараса!], всё, что принесла отцу мать моя, что даже от него скрывает она [!], — все моё! Такого ни у кого нет теперь из козаков наших оружия, как у меня: за одну рукоять моей сабли дают мне лучший табун и три тысячи овец. И от всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово или хотя только шевельнешь своею тонкою черною бровью! Но знаю, что, может быть, несу глупые речи, и некстати, и нейдет всё это сюда, что не мне, проведшему жизнь в бурсе и на Запорожьи, говорить так, как в обычае говорить там, где бывают короли, князья и всё, что ни есть лучшего в вельможном рыцарстве. Вижу, что ты иное творенье Бога, нежели все мы, и далеки пред тобою другие боярские жены и дочери-девы. Мы не годимся быть твоими рабами, только небесные ангелы могут служить тебе.»

Нет, не глупую речь произнёс Андрий! Она — лучшая из речей в повести. Как раз все прочие речи глупы, иной раз глупы до бесстыдства, а эта — по своему тону — прекрасна, спасибо Гоголю. Уродливы тут слова Гоголя, не Андрия: «всякие избытки», сверх сердечных и душевных, — желудочные, что ли? или прямо сексуальные? Не может Гоголь без вывертов, без наполнителей и уродств! Речь Андрия, конечно, списана кое-как из Вальтера Скотта, но за такое не упрекнёшь: ведь и шотландский писатель на что-то опирался; преемственность в литературе не только возможна, а необходима.

Девушка отвечает Андрию подобной же речью, столь же пространной и пылкой, и — написанной почти чисто, редчайшее дело у Гоголя. Читаю, перечитываю — и не вижу ляпсусов… ну, почти не вижу; не хочу видеть. Из речи девушки выясняется, что и она, перед которой на коленях стояли лучшие рыцари, бароны и графы, влюблена в Андрия, которого видела один раз и высмеяла, но — сознаёт гибельность этой любви, не хуже Джульетты, понимающей, что ей нельзя любить Ромео. Девушка говорит запорожцу: «Не обманывай, рыцарь, и себя, и меня» — и перечисляет преграды, стоящие на пути их любви. Андрий отвечает:

> «А что мне отец, товарищи и отчизна?… Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты!»

Опять я с Андрием: отчизна — то, чего ищет душа! Первые действительно высокие слова во всей повести! Но я не с Гоголем, не понимающим, что он сказал. Отчизна, в отличие от родины,— понятие политическое и позднее, возникшее после взятия Бастилии. В XVII веке в Европе об отчизне никто не слыхал, знают только подданство. И нет никакой Украйны: есть Русь, автономия в составе Речи Посполитой; и есть Запорожская Сечь — разноплемённое разбойничье гнездо, не имеющее к Руси никакого отношения, ни в малейшей степени не являющееся эмбрионом будущей независимой отчизны. Земная отчизна Андрия — Речь Посполитая, и этой отчизне он как раз изменил, выйдя с разбойниками грабить и убивать мирных жителей. Разумеется, и выбор между отчизной и человеком, в котором вся твоя жизнь, —

вопрос поздний, невозможный ранее XIX века.

Нужно ли говорить, что в 1950-е, когда я читал это место у Гоголя, — я всем сердцем презирал изменника Андрия?

Влюблённые целуются, хотя ни она, ни он ещё не знают друг друга по именам.

> «И в сем обоюдо-слиянном поцелуе ощутилось то, что один только раз в жизни дается чувствовать человеку.»

Ещё раз спасибо Гоголю. Проглатываю пустопорожний эпитет-наполнитель «обоюдо-слиянном». В удушливой, тоскливой атмосфере повести сцена свидания, пусть и невероятно растянутая, пусть и с неизбежными у Гоголя кривляниями, — глоток озона. Вижу перед собою живых людей.

7

Ночью в осаждённое Дубно приходит подкрепление. Поляки с лёгкостью вошли в город. Пьяные в стельку запорожцы Переяславского куреня частично перебиты, частично взяты в плен перед одними из городских ворот. (Впервые встречаю в повести поименованный курень.) Козаки грозятся в ответ:

> «А мы вот лучше покажем им, что такое нападать на безвинных людей.»

Вот уж глупость так глупость! Смешнее не скажешь! Про разбойников, убивающих мирных жителей, не скажешь: безвинные. И про набравшихся вина до беспамятства не скажешь: безвинные.

Все речи именитых козаков у Гоголя всегда глупы и велеречивы, хуже того — непомерно растянуты. Козаки на раде голосуют криком, как воины Лакедемона, но лаконичными быть не умеют. Красноречие их анекдотично. На самую простую мысль уходит пол-страницы, а ведь люди — на войне, где время дорого! Но Гоголю дорого другое: его псевдонародность… да и прямая тут корысть видна, говорю без обиняков: платят-то писателю за объём написанного.

Появляются имена других куреней: Дядькивский, Корсунский, Тытаревский, Тымошевский, Щербиновский, Стебликивский, Уманский, Поповичевский, Каневский, Незамайковский, Гургизив; что, с учётом разбитого Переяславского, даёт 12 куреней… В исторической Сечи, мы помним, их 38, а в гоголевской Сечи их больше шестидесяти. Не знаю, выдуманные эти имена или исторические. А Гоголь — не знает, в каком курене состоит Бульба с сыновьями; не сообщает об этом. Да и как эти трое могут состоять в курене, когда они — землевладельцы, помещики? Козак ведь тот, кто порвал с семьёй, с домом, с оседлой жизнью. Выходит, они в Сечи жили на правах туристов? Ситуация несколько проясняется, когда под стены Дубна к Тарасу приходит его полк численностью в четыре с лишним тысячи человек. Тарас ведь был представлен читателю как «один из числа коренных, старых полковников». Теперь он — союзник запорожцев, не запорожец. Почему другие «коренные полковники» гетманщины не присоединились к запорожцам? Неужто всех растерзали католики?

Тарас замечает пропажу Андрея, но больше никто её не замечает, а ведь, казалось бы, видный был козак и богатый. Тут кстати выскакивает жид Янкель с сообщением, что Андрий в городе. Янкель вошел в город с вновь прибывшими поляками — и, отважный человек, с

риском для жизни, потому что среди поляков были его должники. Слуги одного должника, хорунжия (знаменосца), уже закинули жиду верёвку на шею, а тот увернулся: пообещал ещё в долг дать. Смелый, смелый был жид этот Янкель, не трусливее любого козака. И прочие жиды тоже. Разве это не смелость торговать с разбойниками во время войны? да и с королевскими солдатами, — ведь и они жида за человека не держат и за убийство его по закону не отвечают.

Янкель сообщает остолбеневшему Тарасу, что Андрий теперь — «важный рыцарь Далибург», что он весь в золоте.

> «И наплечники в золоте, и на поясе золото, и везде золото, и всё золото; так, как солнце взглянет весною, когда в огороде всякая пташка пищит и поет и всякая травка пахнет, так и он весь сияет в золоте, и коня ему дал воевода самого лучшего под верх: два ста червонных стоит один конь.»

Жид у Гоголя, как видим, тоже многословен под стать козакам, хотя и его прямая выгода быть кратким. Что до нового имени Андрия: Далибург, то оно шотландское; есть такой городок на Гебридских островах. Гоголеведы ни слова не говорят об этом имени; русские не любопытны. А я скажу, что у Сенкевича, в *Пане Володыёвском*, есть герой-шотландец по фамилии Кетлинг, сражающийся на стороне поляков против султана, и я допускаю, что он возник не без влияния Гоголя, не без Андрия Далибурга… Другое дело, знал ли сам-то Гоголь, что за имя он придумал для Андрия. По правде сказать, я убеждён, что — не знал; взял первое попавшееся со слуха.

Преображение Андрия раздвигает пространство повести. До ухода Андрия в город вся повесть в сюжетном отношении — прямая линия, узкая тропа; читатель не расстаётся с Тарасом и сыновьями, что скучновато. Уход Андрия — первое разветвление сюжета, обычное в европейской прозе и драме, отказавшейся от единства места; появляется вторая сцена. А сообщение Янкеля создаёт уже стереоскопический эффект. За спиной читателя произошло интересное: Андрий встретился с отцом «панночки», воеводой Дубна, тоже безымянным, и был им обласкан, даже стал женихом «панночки». Поверить этому чуду в прямолинейном повествовании было бы куда как трудно, а тут, при заочном описании, недоверие сглаживается.

Янкелю в городе удалось поговорить с Андрием. Андрий

> «прежде кивнул пальцем [!], а потом уже сказал: "Янкель!" А я: "Пан Андрий!" — говорю. "Янкель, скажи отцу, скажи брату, скажи козакам, скажи запорожцам, скажи всем, что отец — теперь не отец мне, брат — не брат, товарищ — не товарищ, и что я с ними буду биться со всеми, со всеми буду биться!»

Повторю к слову, что я теперешний — с Андрием, показавшим характер, совершившим поступок необычайный, разом вырвавший его из безликой толпы пьяных головорезов.

Сцена с жидом интересна, но затянута до неприличия — как практически все сцены у Гоголя. Зачем жиду было рассказывать, да ещё так подробно, приплетая птичек и огород, об «измене» Андрия? Ведь Янкель жизнью рисковал. Тарас три раза хватался за саблю во время его рассказа: «Врешь, чортов Иуда!… Врешь, собака! … Я тебя убью, сатана!». Ответ один: жид исполнял слово, данное Андрию. Обещал — и исполнил. А вот на что нет ответа: как жид

выбрался из осаждённого города? Гоголь не заботится о таких сюжетных мелочах: сойдёт и так! Он занят художеством: «моргнул усом», «кивнул пальцем».

Запорожцы насмешками вызывают польское воинство на городскую стену (Гоголь называет стену валом). С невероятной подробностью, без имён, но зато с пренебрежением, описаны ляхи на стене. Иные пассажи Гоголя просто анекдотичны:

> «Немало было и всяких сенаторских нахлебников, которых брали с собою сенаторы на обеды для почета, которые крали со стола и из буфетов серебряные кубки и после сегодняшнего почета на другой день садились на козлы править конями у какого-нибудь пана. Много всяких было там. Иной раз и выпить было не на что, а на войну все принарядилось.»

Откуда взялись сенаторы? Какой почёт сенатору от нахлебника? Что нахлебники делают на стене осаждённого города? Кто, глядя на стену, видит этих нахлебников со всею их подноготною, с кражею кубков (почему не ложек)? Воины они или только нахлебники? Что, наконец, они делают в повести? Почему бедность — предмет насмешки? Весь этот кусок — пустопорожний, позорный наполнитель. И как построена фраза! Почёт — сначала сенаторам, потом — «нахлебникам», через запятую! А язык?! — *которых-которые* в затылок! Стыдно, ей-богу. Но не за Гоголя стыдно, он в литературе новичок и простак, он русского языка толком не знает и фразу построить не умеет, — за Белинского стыдно и прочих, которые восхищались. Где их вкус, где их совесть? Что они суют мне, школьнику-подростку, в качестве примера для подражания? Я резче скажу: русским должно быть стыдно, всем русским, начиная от проклятых шестидесятников (девятнадцатого века) и кончая проклятыми большевиками. Заврались в самовосхвалении — вот откуда похвалы Гоголю.

Насмешки запорожцев глупы и не смешны, ляхи со стены Дубна отвечают невпопад и тоже глупо, но цель козаков достигнута: поляки устраивают вылазку. Происходит битва, первая в повести, наполненной грабежом и убийствами беззащитных. Описана битва не как целое, а как отдельные схватки впервые поименованных козаков с безымянными ляхами. Первая же схватка завершается описанием добычи доблестного козака: он забирает коней, снимает с убитого «саблю с дорогою рукоятью», «отвязывает от пояса целый черенок с червонцами» (зачем бы ляху брать червонцы в битву?). Один лях тоже доблестно сражается, но недолго:

> «достал его ружейною пулею Кукубенко [впервые упомянутый]. Вошла в спинные лопатки ему горячая пуля, и свалился он с коня. А Кукубенко, взяв в обе руки свой тяжёлый палаш, вогнал его ему в самые побелевшие уста. Вышиб два сахарных зуба палаш, рассек надвое язык, разбил горловой позвонок и вошел далеко в землю. Так и пригвоздил он его там навеки к сырой земле. Ключом хлынула вверх алая, как надречная калина, высокая дворянская кровь…»

«Его ему», «он его»… «спинные лопатки»… «горячая пуля»… Позвонок — «горловой», кровь «алая, как надречная калина», — вот какова русская классическая проза, вот чем полагалось восхищаться подростку!

Куренной атаман Бородатый [новое лицо, новое имя] обирает труп убитого Кукубенкой ля-

ха (то есть мародёрствует), но его корыстолюбие наказано:

> «нагнулся, чтобы снять с него дорогие доспехи, вынул уже турецкий нож в оправе из самоцветных каменьев, *отвязал от пояса черенок с червонцами* [эта формула повторена от слова до слова на той же странице!], снял с груди сумку с тонким бельем [!], дорогим серебром и девическою кудрею, сохранно сберегавшеюся на память. И не услышал Бородатый, как налетел на него сзади красноносый хорунжий… отскочила могучая голова… Понеслась к вышинам суровая [!] козацкая душа, хмурясь и негодуя, и вместе с тем дивуясь, что так рано вылетела из такого крепкого тела…»

Не только червонцы берут ляхи в битву, но и сумки «с тонким бельем», вот ведь дураки-то! А «суровая козацкая душа» какова! Это у мародёра-то! Читаю, и перечитываю, ещё раз перечитываю — и глазам своим не верю…

За убитого мародёра тут же мстит тарасов сын Остап: убивает хорунжего [ох, пропали денежки Янкеля!], и не как-нибудь, а «как плавающий в небе ястреб… бьет стрелой раскричавшегося у самой дороги самца-перепела», — сколько поэзии! Остапа тут же, во время битвы, избирают куренным атаманом вместо убитого Бородатого. Остапу двадцать два года, и он всего несколько недель с запорожцами. Видно, очень уж он был доблестен. Обычно в Сечи требовалось не менее года, чтобы заслужить одно только имя козака, не то что в начальство выдвинуться.

Исход битвы решил Тарас Бульба, сидевший со своим полком в засаде. Он «с криком бросился навпереймы», испугал стадо волов, и стадо «смяло и рассыпало» ляхов; уцелевшие отступили в город в самом жалком виде.

После боя козаки хоронили убитых:

> «сложили честно козацкие тела и засыпали их свежею [!] землею… А ляшские тела, увязавши как попало десятками к хвостам диких [!] коней, пустили *их* [выделено мною] по всему полю и долго потом гнались за ними и хлестали *их* [выделено мною] по бокам.»

Первое из двух *их* тут лишнее; правильно построенная русская фраза его не допускает. Второе *их* синтаксически должно было бы относиться к коням, но у Гоголя, не умеющего распоряжаться местоимениями, отнесено к трупам ляхов; выходит, что козаки хлестали по бокам трупы, а не коней. Не спрашиваю, откуда взялись под Дубном дикие кони и почему земля свежая. Ответ ясен: от писательской беспомощности Гоголя.

Победители-козаки ужинают и долго не ложатся, обсуждают свои подвиги (не видно, чтобы кто-нибудь занимался раненными). Бульба «долее всех не ложился». Он мысленно клянётся разделаться с полячкой:

> «И выполнил бы он свою клятву: не поглядел бы на ее красоту, вытащил бы ее за густую, пышную косу, поволок бы ее за собою по всему полю, между всех казаков. Избились бы о землю, окровавившись и покрывшись пылью, ее чудные груди и плечи, блеском равные нетающим снегам, что покрывают горные вершины. Разнес бы по частям

> он ее пышное, прекрасное тело. Но не ведал Бульба того, что готовит Бог человеку завтра, и стал позабываться сном, и наконец заснул.»

Хорош герой, хорош рыцарь. Хорош и Гоголь, сладострастно упивающийся расправами и жестокостью.

8

> «Из Сечи пришла весть, что татары во время отлучки козаков ограбили в ней всё, вырыли скарб [sic!], который втайне [sic!] держали козаки под землею, избили и забрали в плен всех, которые оставались…»

Слово скарб, как я уже отметил, — польское, означает: клад, сокровище. Гоголь употребляет его в польском, а не в русском значении: называет скарбом казну запорожцев, а не пожитки бедняка. Раньше Гоголь помещал эту казну под воду, теперь она оказывается под землёй, но классику не до мелочей… Гоголеведы или другие добрые люди поправили классика: вместо *в тайне*, как было в оригинале, написали *втайне*, что, конечно, ошибка.

Запорожцы озадачены новостью. Собирается рада. Кошевой (на раде он не вождь, а равный) советует: нужно пуститься за татарами и отобрать казну; о захваченных в плен татарами товарищах — ни слова; казна важнее. Козаки «голосно» выражают одобрение. Тарас Бульба возражает: честь обязывает освободить тех пленных, что в Дубне (об уведённых в плен татарами — ни слова). Козаки и с этим согласны. Третий оратор, старик (вся его жизнь тут же подробно рассказана, но ни до, ни после этой сцены он не фигурирует), советует разделиться: одним идти за татарами, другим продолжать осаду. Эта простая мысль встречена как откровение. Все согласны. Козаки по своему желанию разделяются на две группы, «и вышло без малого не поровну». Уходящих ведёт кошевой, над остающимися выбран «наказным атаманом» Бульба. В каждой половине оказались доблестные воины. Речь о них ведётся подробная, многие поименованы. Всё это люди «хожалые, езжалые», которые «не раз череши [кошельки] у штанных очкуров [шнурков] набивали всё чистыми цехинами»; «у редкого из них не было закопано добра». Наконец, «все козаки, сколько их ни было, перецеловались между собою» на прощанье… Это упоительный момент! «Гордые и крепкие» целуются, надо полагать, в губы — как незабвенный генсек Брежнев с коммунистическими вождями планеты. Допустим, из-под Дубна уходит десять тысяч козаков, и остаётся десять тысяч. Значит, каждый козак должен поцеловать десять тысяч других. Пусть на поцелуй уходит три секунды. Тогда — целование длится восемь часов двадцать минут… а если на поцелуй пять секунд отвести, то уже тринадцать часов сорок минут получается… А если в половине войска — больше, чем десять тысяч? … Татары, захватившие казну и пленных, могут пустить своих коней иноходью. Спешить им некуда.

Рада продолжалась три с лишним страницы. Ночью кошевой уводит свою половину войска. Оставшиеся загрустили.

> «Тарас видел, как смутны стали казацкие ряды и как уныние, неприличное храбрым, стало тихо [sic! любимое словечко!] обнимать казацкие головы; но молчал… а между тем в тишине готовился разом и

вдруг разбудить их всех, гикнувши по-казацки, чтобы вновь и с большею силою, чем прежде, воротилась бодрость каждому в душу, на что способна одна только *славянская порода, широкая, могучая порода, перед другими, что море перед мелководными реками* [выделено мною]. Коли время бурно, всё превращается оно в рев и гром, бугря и подымая валы, как не поднять их бессильным рекам. Коли же безветренно и тихо, яснее всех рек расстилает оно свою неоглядную стеклянную поверхность, вечную негу очей.»

Сколько поэзии! Но как мало правды! То есть порода-то славянская широка, кто бы спорил. Не про неё ли Алмазов сказал:

Широки натуры русские.
Нашей правды идеал
Не влезает в рамки узкие
Юридических начал.

Одна беда: среди запорожцев, как я уже отметил, никогда не было более 35-40% славян. Да пусть бы и не так, отчего загрустили гордые и сильные? что их мало? тогда — о чём они раньше думали? Решение-то разделится одобрили все. Однако ж Гоголь ни слова не говорит о причине внезапной грусти разбойников.

Тарас велит распаковать большой воз с «дебелыми» колёсами, где были «баклаги и бочонки старого доброго вина», которое ещё и «заповедным» названо. Это явно не водка, ей возраст не к лицу. Чем угощает Тарас? Токайским? Рислингом? Козаки бурды не пьют. Вероятно, мёдом. Тарас угощает всех, причём кто подставляют ковш, кто «черпак, которым поил коня», кто — шапку, а иные и горсти подставляют. Тарас произносит длинный тост (а «заповедное» вино течёт, надо полагать, из шапок и из горстей на «свежую» землю):

«Выпьем, товарищи, разом, выпьем наперед всего за святую православную веру, чтобы пришло наконец такое время, чтоб по всему свету разошлась и везде была бы одна святая вера, и все, сколько ни есть бусурманов, все бы сделались христианами!»

От этих слов козаки взбодрились; «весело глядели очи их всех, просиявшие вином». Шутка ли, им, в завуалированной форме, сулят мировое господство.

«Не о корысти и военном прибытке теперь думали они [sic! прежде, выходит, думали о корысти], не о том, кому посчастливится набрать червонцев, дорогого оружья, шитых кафтанов и черкесских коней; но задумались они, как орлы, севшие на вершинах каменистых гор, обрывистых, высоких гор, с которых далеко видно расстилающееся беспредельное море, усыпанное, как мелкими птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонам чуть видными тонкими поморьями, с прибрежными, как мошки, городами и склонившимися, как мелкая травка, лесами. Как орлы, озирали они вокруг себя очами всё поле и чернеющую вдали судьбу свою.»

Первая фраза упоительна в своей нелепости; выпившие козаки задумались, как орлы, — вот её содержание, а дальше — хвост-наполнитель в сорок с лишним корявых никчемных слов. Да и точно ли орлы думают? Не унижает ли человека сравнение с задумавшейся птицей? И вот что любопытно: сколько орлов село «на вершинах каменных гор»? Если больше, чем пара, то картина выходит престранная, а ведь козаков-то — много.

Замечу, что и Поморье — имя собственное: не приморье и не лукоморье, а южное побережье Белого моря.

На такого рода поэзию уходят у Гоголя страницы.

9

О том, что половина запорожцев ушла, сообщили в город жиды. Кто же ещё! Говорят, лондонский Ротшильд, сын основателя династии, удвоил своё состояние тем, что через своих агентов первым в Британии узнал об исходе битвы при Ватерлоо. А вот другой проверенный временем анекдот. Президент Обама (был такой в США) спрашивает своего консультанта-еврея, как это евреи всегда всё узнают первыми. Тот говорит: у нас принято каждый разговор начинать вопросом: ма нишма? (что слышно?). Обама не верит. Он переодевается в костюм ортодоксального еврея, прицепляет пейсы, едет в Бруклин, выходит на улицу и обращается к первому встречному старику с вопросом: ма нишма, ребе? А тот ему отвечает: — Да говорят, какой-то Обама приехал в Бруклин…

В Дубне обрадовались уходу части козаков и готовятся к новой битве. Тарас тоже готовится, притом — к битве оборонительной: «уставил в три таборы [!] курени, обнесши их возами в виде крепостей» (обычная козацкая тактика). Гоголь говорит, что в таких битвах козаки «непобедимы» — будто не знает, что его козакам, его Тарасу, предстоит поражение под Дубном. История тоже не на на стороне Гоголя: в ходе такого баррикадного боя было в 1596 году окончательно разгромлено восстание Северина Наливайка. Круговые баррикады из телег — последнее отчаянное средство защиты. Почему бы Гоголю не сказать прямо, что козаки от нападения перешли к защите?

Тарасу мало показалось недавнего тоста за веру, он произносит перед козаками новую речь, по признанию самого Гоголя ненужную (Тарас «знал, что и без того крепки они духом» после выпитого «заповедного» вина), — речь путанную и неприлично длинную: о русском товариществе.

> «Нет уз святее товарищества! … Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей. … нет, братцы; так любить, как русская душа, любить не то чтобы умом или чем другим [sic!], а всем, *чем* [выделено мною] дал Бог, что ни есть в тебе [sic!]… так любить никто не может! Знаю, подло завелось теперь в земле нашей: перенимают чорт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает… но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства; и проснется он когда-нибудь… Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество. Уже если на то пошло, чтобы умирать, так никому ж из них не доведется так умирать!

никому, никому! не хватит у них на то мышиной натуры их!»

Оборот «любить всем, *чем* дал Бог» поистине упоителен! Не знаешь, плакать или смеяться. Гоголь не слышит скабрёзности, не понимает, что он сказал. Конечно, и «женщина, приятная во всех отношениях» (из *Мёртвых душ*), так всех рассмешившая, — пример именно такого непонимания. А вместе с тем тут ещё и синтаксическая ошибка. Правильно было бы: «всем, *что* дал Бог».)

Иные козаки от этой речи прослезились. Ещё бы! У всех мышиная натура, кроме русских. Но зря Гоголь говорит, что речь эта лишняя. В ней Тарас дополняет свой тост и этим окончательно сдёргивает маску с религии Гоголя. Маска эта — слова о православной вере и об отчизне. Козаки у Гоголя — сущие язычники: не ходят в церковь, не соблюдают постов и других предписаний веры, грабят, зверствуют, насильничают. Истинное мировоззрение Гоголя, которое он и козакам приписывает, истинная его религия, — превосходство русских над всеми другими народами. Именно на эту лестную мысль откликаются с восторгом почитатели Гоголя. Косвенно она сквозит всюду; в описании любого похода запорожцев. Вот что мимоходом сказано о походе в Турцию: «Много награбили они цехинов, дорогой турецкой габы [ткань], киндяков [ткань], всяких убранств, но мыкнули горе на обратном пути: попались, *сердечные* [sic! выделено мною], под турецкие ядра», — такое вот лирическое отступление. Сердечные, слов нет! Они ведь хорошие, а турки-то плохие. Однако ж прямо, без фигового листка, — лестная и льстивая мысль о русском превосходстве над всеми народами сформулирована только тут, в речи Тараса. А вот её официальное переложение (по изданию 1952 года): «"Тарас Бульба" является апофеозом мужества, отваги, патриотизма.»

Поляки выступили из города. Козаки из-за своих баррикад палят по ним из пищалей. Пищаль действительно была в ходу в XVII веке, она аналогична западной аркебузе. Слово пищаль — славянское, от глагола пищать, а от чешской его формы píštala произошли слова пистоль (оружие и монета) и пистолет.

> «Задние только заряжали да передавали передним, наводя изумление на неприятеля, не могшего понять, как стреляли козаки, не заряжая ружей… Сам иноземный инженер подивился такой, никогда им не виданной тактике.»

Поляков и француза удивляет оборонительная тактика, известная решительно всем и повсюду с момента появления стрелкового оружия. Глупость поляков и других героев должна, вероятно, по мысли Гоголя сообщать некий эпический настрой повествованию.

Сюда же и эпический, былинный слог: «на вечную радость старцам родителям, родившим их»; «тяжело ревнули широкими горлами чугунные пушки»; «взрыдает старая мать, ударяя себя костистыми руками в дряхлые перси»; «уже успело ему углубиться под сердце копье». Или:

> «Тихо склонился он на руки подхвативших его козаков, и хлынула ручьем молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли в стеклянном сосуде из погреба неосторожные слуги и, поскользнувшись тут же у входа, разбили дорогую сулею; разлилось на землю вино, и схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегавший его про лучший слу-

чай жизни, чтобы, если приведет Бог, на старости лет встретиться с товарищем юности, то чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее, иное время, когда иначе и лучше веселился человек.»

Вся эта слащавая поэзия подменяет описание схватки, Гоголю не дающееся. Неуклюжий Боян портит дело Вальтеру Скотту. Картина битвы, невероятно затянутая, начисто смазана такими фальшивыми вставками.

Но текстуальные повторы у Гоголя — не рефрены эпической поэмы или былины. На двух соседних страницах встречаю у него: «ударил в самую середину» и «вбился в самую середину», в обоих случаях без необходимого грамматического дополнения (в середину чего?). Такие повторы — простая неумелость.

В ходе этой второй битвы под стенами Дубны — Тарас произносит знаменитые слова, ставшие в России пословицей: «Есть ещё порох в пороховницах». Эту же формулу нахожу у Сенкевича в его очень европейских романах о том же времени, но на этот раз я думаю, что не Сенкевич опирается на Гоголя (как в случае с шотландцем Кетлингом), а Гоголь берёт готовую польскую народную присказку, которая в Польше у всех на слуху. Могу ошибаться. Не проверяю эту мою догадку.

Козаки несут потери в битве. Именитые козаки гибнут картинно (жизнь каждого подробно рассказывается *задним числом*, как раз после гибели, так что читатель не успевает героев полюбить). Перед смертью они произносят очень похожие патриотические пожелания с непременной частицей *же*:

(1) «Пусть же пропадут все враги и ликует вечные веки Русская земля!»
(2) «Пусть же славится до конца века Русская земля!»
(3) «Пусть же цветет вечно Русская земля!»
(4) «Пусть же после нас живут еще лучше, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!»

Смертельная рана (говорят врачи и история) не всегда ведёт к мгновенной смерти человека. Многие мучаются долго. Козаки у Гоголя умирают сразу, как в голливудских боевиках, притом у каждого тотчас душа отправляется «к вышинам». А иной раз и такое случается:

«И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему [sic!] там. "Садись, Кукубенко, одесную меня! — скажет ему Христос: — ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь".»

Опять вижу у Гоголя путаницу с грамматическим родом: про душу сказано: «хорошо ему будет там». Прямо-таки неловко за человека.

Поле усеяно павшими; «высоко гатились мосты из козацких и вражьих тел» (гать — настил из брёвен; уподобить человека бревну — это ли не поэзия? одно тревожит: гать ведь плоская: как же ей «высоко гатиться»?).

«Взглянул Тарас на небо, а уж по небу потянулась вереница кречетов.

Ну, будет кому-то пожива!»

Что ни фраза, то стих! Кречет — из отряда соколообразных, которые не питаются падалью и не образуют стай (вереиц), — в отличие от ястребообразных, к которым относятся, между прочим, и задумчивые орлы Гоголя; эти падаль жрут.

Победа клонится на сторону козаков, но тут из города «вылетел» гусарский полк во главе с витязем «всех бойчее, всех красивее»: это — рыцарь Андрий Далибург, бывший сын Тараса. Его отвага безудержна… однако ж он у Гоголя не лев и не орёл, а «молодой борзой пес». Тарас велит козакам заманить Андрия к лесу. Это нехитрое дело; Андрий объят «пылом и жаром», видит перед собою только «длинные кудри, и подобную речному лебедю грудь» возлюбленной. У леса Тарас останавливает коня Андрия на всём скаку; тот «затрясся всем телом и вдруг стал бледен». Идёт дикое по своей безвкусице пространное сравнение Андрия с провинившимся школьником. Затем Тарас произносит другие свои знаменитые слова (которые очень нравились моей матери): «Я тебя породил, я тебя и убью!». Андрий не отвечает.

> «Бледен как полотно был Андрий; видно было, как тихо шевелились уста его и как он произносил чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьев — это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил.»

Андрий убит на месте. Его портрет завершён. По мне — он и жил (после ухода от разбойников-козаков), и умер на поле боя — как настоящий рыцарь, единственный настоящий рыцарь среди запорожцев. Руки на отца он не поднял, смерть принял мужественно, счастьем своим поступился сознательно. Умер с именем возлюбленной на устах. Что рядом с возлюбленной какая-то отчизна? (К слову сказать, у последовательного христианина и нет никакой земной отчизны, есть только отчизна небесная.)

В последней цитате ещё то занятно, что упомянуты какие-то братья Андрия, хотя у него только один брат, Остап. Гоголю — не до таких мелочей. Он ударяется в обычную свою дешёвую поэзию: «как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни слова». Отвратительно! Что за сластолюбие от жестокости? И отчего же «барашек»? Андрий умер, как герой.

Отец, убивающий сына, — сюжет, известный в литературе. У Шекспира он отсылает к гражданской войне. В *Генрихе VI*, во второй битве при Сент-Олбансе, безымянный отец убивает не узнанного им и тоже безымянного сына (кажется, в пятом акте), — ситуация поистине трагическая. У Гоголя тоже, в некотором роде, описана гражданская война, запорожцы ведь не провозгласили своей независимости от Речи Посполитой. Но с тем же успехом поход запорожцев можно квалифицировать и словами Пушкина: «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Параллель с Шекспиром вовсе снимается тем, что Тарас и Андрий — главные герои Гоголя, трагизм ослабляется тем, что убийство совершено хладнокровно; Тарас не только судья, но и палач… Можно усмотреть и некоторую параллель с рассказом Мериме *Маттео Фальконе*, в котором отец тоже совершенно хладнокровно убивает десятилетнего сына-предателя. Мальчишка за подарок, карманные часы, выдаёт беглеца-партизана, но ведёт себя он жалко: на коленях просит у отца пощады, тогда как Андрий прямо смотрит в дуло наведённой на него пищали.

Никто никогда не отметил, что для сведения счётов с бывшим сыном Тарас покидает поле

боя, бросает *товарищей*, и как раз в отсутствие атамана козаки побеждены окончательно. Возвращается Тарас, по требованию последних уцелевших товарищей, только для того, чтобы увидеть, как их добивают, как берут в плен Остапа — и чтобы потерять сознание от нанесённой ему, Тарасу, раны. Запорожцы в повести Гоголя, в отличие от поляков, пленных нигде не берут, — следовательно, раненных добивают.

Дважды в описании второй битвы, и в близком соседстве (Гоголь своих повторов не слышит), встречается у Гоголя оборот «тому и другому»: «дали по гостинцу тому и другому». «сыплет гостинцы тому и другому». По-русски этот оборот возможен лишь применительно к *двум уже названным лицам*. У Гоголя не так: оборот идёт в значении: *(раздаёт удары) направо и налево*. Эта, казалось бы, пустяковая ошибка многозначительна: она ещё раз наглядно показывает, до какой степени Гоголь не чувствует русского языка.

Мы так и не узнаём имени прекрасной полячки, с которым на устах умирает Андрий. Мы не узнаём имени её отца-воеводы, столь великодушно поступившего с Андрием (мог ведь и голову отрубить, и замучить до смерти; мечтает же Бульба о том, как будет истязать дочь воеводы). Ткань Гоголя всегда скомкана и дырява. Иные вопросы он формулирует, но забывает ответить на них. Например, Тарас гадает, отчего Андрий не участвовал в первой битве под стенами Дубна и кто открыл татарам, ограбившим Сечь, место сечевой казны, — но зря гадает, Гоголь забывает ответить на свои же вопросы.

Грабительский набег запорожцев на Дубно окончился бесславным поражением. Запорожцы, сражавшиеся отнюдь не за отчизну, а против отчизны, разбиты в пух и прах, и не коронным гетманом Жолковским или Потоцким, не главными силами поляков, а какими-то двумя непоименованными полковниками. Все козаки полегли или в оказались плену — так можно заключить из описания конца битвы, брошенного без концовки. Но вдруг оказывается, что двое уцелели…

10

> «— Долго же я спал! — сказал Тарас, очнувшись… пред ним сидел Товкач и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханью. — Да скажи же мне, где я теперь? — Молчи ж! — прикрикнул сурово на него товарищ. — Чего тебе еще хочется знать? разве ты не видишь, что весь изрублен? Уж две недели как мы с тобою скачем не переводя духу и как ты в горячке и жару несешь и городишь чепуху… — вскричал Товкач сердито, как нянька, выведенная из терпенья, кричит неугомонному *повесе ребенку* [выделено мною]. — Нам еще немало ночей скакать вместе! Ты думаешь, что пошел за простого козака? нет, твою голову оценили в две тысячи червонных.»

Долгая выдалась дорога от Дубна до Хортицы! Скачут, видно, по ночам, а днём прячутся? Нет, скачут «дни и ночи», причём есаул везёт Тараса, завернув в воловью кожу и «прикрепивши веревками к седлу»! А Тарас, мы помним, весит немало… Не верю этой картине, этим сведениям. И за что две тысячи червонных? Тарас ничем не отличился на поле боя, если не считать отлучки по личной надобности, да и атаманствовал два дня. Где происходит эта сцена? Товкач Тарасу на этот вопрос не отвечает. Где другие уцелевшие? Уцелел ли кто-

нибудь, кроме этих двоих? Оборот «неугомонный повеса ребенок» нахожу возмутительным. Гоголь не знает, что повеса — как раз уже не ребёнок, а молодой человек, вырвавшийся из-под опеки старших, самостоятельный в своём ветреном поведении.

Есаул Товкач привозит Тараса в Сечь и навсегда исчезает за полной ненадобностью. В Сечи Тараса лечит «знающая жидовка» (уцелевшая, надо полагать, от погрома). «Весь изрубленный» Тарас через полтора месяца вполне здоров, но печален; «три тяжелые морщины насунулись на лоб его».

> «Всё новое на Сечи, все перемерли старые товарищи. Ни одного из тех, которые стояли за правое дело, за веру и братство [новые товарищи, выходит, стоят за что-то другое?]. И тех, которые отправились с кошевым в угон за татарами, и тех уже не было давно: все положили головы, все сгибли…»

Но это только для Тараса Сечь другая, а вообще, можно заключить, она не полиняла ни пёрышком, возродилась из ничего, из пепла. И опять готова стоять «за правое дело, за веру и братство»:

> «Запорожцы собирались на морскую экспедицию. Двести челнов спущены были в Днепр, и Малая Азия видела их, с бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цветущие берега ее… Запорожцы переели и переломали весь виноград; в мечетях оставили целые кучи навозу… Они весело плыли назад; за ними гнался десятипушечный турецкий корабль и залпом из всех орудий своих разогнал, как птиц, утлые их челны. Третья часть их потонула в морских глубинах; но остальные снова собрались вместе и прибыли к устью Днепра с двенадцатью бочонками, набитыми цехинами… Но все это уже не занимало Тараса. Он уходил в луга и степи, будто бы за охотою; но заряд его оставался невыстреленным; и, положив ружье, полный тоски, садился он на морской берег. Долго сидел он там, понурив голову и всё повторя: "Остап мой! Остап мой!"»

У Толстого в *Хаджи Мурате* русские (другие русские, москали) тоже оставляют лошадиный помёт в мечети, и уцелевшие старцы-мусульмане, при явном сочувствии автора, отказываются видеть людей в этих русских. У Гоголя оставить навоз в мечети — русская доблесть. Замечу, что навоз, собственно говоря, удобрение, а не испражнение: помёт, смешанный с соломой. И то замечу, что Тарас у Гоголя вдруг каким-то пушкинским поэтом становится:

Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

что как-то не к лицу запорожцу.

После набега на Турцию, хоть и не сразу, Тарас вспомнил, наконец, что он козак, а не поэт. В полном вооружении (то есть не скрываясь), с «пороховыми [!] патронами» , он едет в город

Умань к жиду Янкелю, который к этому времени

> «прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии трех миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке: всё валилось и дряхлело, всё пораспивалось, и осталась бедность да лохмотья; как после пожара или чумы, выветрился весь край. И если бы десять лет еще пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и всё воеводство.»

Гоголь решительно глух к слову: в одной фразе — два *понемногу*! Ему просто слон на ухо наступил. Но зато каков Янкель! Жид из жидов! Одно странно: сам этот кровопийца почему-то живёт в нищете. Тарас

> «прямо подъехал к нечистому, запачканному домишку, у которого небольшие окошки едва были видны, закопченные неизвестно чем [sic!]; труба заткнута была тряпкою, и дырявая крыша вся была покрыта воробьями; куча всякого сору лежала пред самыми дверьми.»

Жид «высосал почти все деньги» из округи, но крышу починить и «закопченные неизвестно чем» окна отмыть не может. Почему? От скупости. Именно к этой мысли подводит Гоголь догадливого читателя. Жиды любят деньги не ради удовольствий, как козаки, а ради самих денег, как некий фетиш… вот только где Янкель хранит свои миллионы, если домишко разваливается? Видно, закапывает, по примеру козаков.

В нечистом доме нашлась «светлица». Тарас вошёл в неё.

> «Жид молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном [sic!], и оборотился, чтобы в последний раз плюнуть [sic!], по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади Бульбу. Так и бросились жиду прежде всего в глаза две тысячи червонных, которые были обещаны за его голову; но он постыдился своей корысти и силился подавить в себе вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида.»

Жид — и вдруг постыдился! Уж не человек ли он? Уж не спятил ли Гоголь? Нет-нет, Гоголь именно *в своём уме*: молитва жида обязательно включает плевки.

Сокращаю сцену объяснения с жидом, путанную и затянутую. Беру существенное. Тарас вынимает «из кожаного гамана» две тысячи червонных и говорит жиду:

> «Я спас твою жизнь… Вези меня в Варшаву… Я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву; но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не горазд на выдумки. А вы, жиды, на то уж и созданы.»

Жид, даром что жид, тоже оказался «не горазд на выдумки»:

> «Пан пусть ляжет на дне воза, а верх я закладу кирпичом. Пан здоровый и крепкий с виду, а потому ему ничего, коли будет тяжеленько; а я

сделаю в возу снизу дырочку, чтобы кормить пана.»

Кормить — ладно, а как насчёт обратного? Нужно ведь две дырочки сделать! Экий дурень Янкель! Человек легче переносит временный голод, чем невозможность опорожнить прямую кишку. И что же: Тарасу кошерное придётся есть из рук Янкеля? Или, может, Янкель свинину будет готовить пану? Самое главное: не прямо же на Тараса кирпич-то жид положит, на грудь пану и на усы, нужно ведь Тараса в ящик какой-то положить? Ничего этого Гоголь не объясняет! Хороша проза!

Я и то спрошу: почему не годилось простое переодевание Тараса? По глупости жида или по глупости Гоголя? Уж очень дика эта история с кирпичом.

Так и поехали, на двух клячах, причем «курчавые пейсики» Янкеля «развевались из-под жидовского яломка» (читай: из-под жидовской ермолки).

11

Воз с кирпичом и Бульбой приезжает в Варшаве на Жидовскую улицу (она же Грязная улица). Грязь всюду непролазная, мусор жиды выбрасывают прямо на улицу, все дома черны,

> «иногда только вверху ощекатуренный [sic!] кусок стены, обхваченный [sic!] солнцем, блистал нестерпимою для глаз белизною… Куча жиденков, запачканных, оборванных, с курчавыми волосами, кричала и валялась [sic!] в грязи.»

Нищета и грязь идут рука об руку; картину Гоголь рисует правильную, хоть в уме держит глупость… Смешно заступаться за евреев; смешно уверять: они не такие. За меня это сделало время и христианские писатели, уж не говорю про самих евреев. Но всё-таки одного христианского писателя в связи с жидовской грязью мне хочется вспомнить, и как раз потому, что его редко вспоминают. В сонете *Нищий* (1919) Георгия Шенгели речь как раз об этом:

— Евреи здесь живут? — Скользит усталый взор
По окнам вымытым, по зелени веселой…
Нет, здесь евреев нет. Но говорю другое:
— Один лишь я — еврей.

Янкель совещается с другими жидами. Оказывается, Остап — в тюрьме, но можно подкупить стражу и доставить Тарасу свидание с сыном. Тараса вдруг осеняет надежда: а нельзя ли и вовсе выкупить Остапа? Тарас богат, он уже обещал Янкелю двенадцать тысяч червонных (и две тысячи выложил в Умани), но тут говорит, что даст вдвое больше, всё отдаст, что имеет, хату продаст… Идёт невероятно длинное описание жидовских совещаний с отлучками. Жиды приходят, жиды уходят. Жиды произносят пустые, нелепые слова. Нужно ли говорить, что все жиды уроды, что всё в них гадко? Но эти выродки — последняя надежда Тараса. Он льстит жидам: «Слушайте, жиды! Вы всё на свете можете сделать, выкопаете хоть из дна морского» (только с грязью справится не могут! видно, любят грязь). Жиды опять совещаются, уходят, приходят. Последняя новость плохая: «не можно» выкупить. Завтра заключённых будут казнить, но есть надежда «видеться завтра, чтоб еще и солнце не всходило».

Прав Гоголь: его доблестный Тарас не силён умом. Где он раньше-то был, если хотел вызволить сына? Зачем в заморском набеге участвовал и попусту время тратил, зачем на берегу

моря «долго сидел» и вздыхал поэтом? За цехинами, что ли, к туркам ходил? Что за неуёмное корыстолюбие! Цехины — не проблема, жиды в долг дадут. Зачем Гоголь всюду выставляет Тараса дураком? Неужто в глупости доблесть усматривает?

Но — пусть жиды вернулись с хорошей новостью: Остапа можно выкупить. Дорисуем за Гоголя эту линию. Пусть все подкуплены, и Остапу говорят: выходи, ты свободен, тебя ждёт отец. В каком положении оказывается Тарас с его «русским товариществом»? Сына выкупил, а остальных товарищей бросил? Ведь предательство выходит! И как Остап примет свою купленную через жидов свободу? Тут как раз место художеству. Можно характер Остапа выявить одним движением. Если Остап поверил речи Тараса о «русском товариществе», он скажет: нет, погибну со всеми! Но Гоголь упускает эту дивную возможность развития сюжета…

К слову, похожее было однажды, и не на бумаге. В 1922 году, в Малой Азии, греки воевали с турками. В турецком плену оказывается, среди прочих, греческий офицер Мордехай Фризис, пейсатый еврей, от веры своей не отказавшийся. Местные евреи говорят ему: мы вас выкупим, а пейсатый отвечает: я разделю участь всех пленных. Пленных обменяли. Фризис дослужился до полковника. Он погиб в 1940 году смертью храбрых на итальянском фронте, и — не чудо ли это? — в православной Греции ему установлен бронзовый конный памятник, причём бронзовый конь поднят на дыбы, что по европейской традиции означает гибель героя на поле боя (исключений из этой традиции в Европе немного; одно из них — Медный Всадник… но ведь русские — всегда исключение). В Афинах — именем пейсатого Фризиса улица названа.

На другое утро Тараса переодевают «иностранным графом». (Что ж в Умани-то не переодели?! под кирпичом везли козака!) Янкель и ещё кто-то из жидов (кто именно и сколько жидов, не сказано) ведут Тараса в здание, имеющее «вид сидящей цапли»; в нём тюрьма, казарма и уголовный суд. Часовые — повсюду, но они беспрепятственно пропускают пришедших; они уже подкуплены. Янкель в качестве пароля кричит им: «Это мы, ясные паны!»

Здание в виде «сидящей цапли» не просто вздор: это — наполнитель, слова ради слов, да ещё обычная у Гоголя нехватка воображения. Гоголь хочет сказать: ляхи — дураки, раз такое здание построили, а поскольку такого здания вообразить нельзя, то сам оказывается в дураках.

Казалось бы теперь, когда повествование развивается, когда опять включился Вальтер Скотт, когда Тарас не вздыхает на берегу моря, а действует, нужны точные и убедительные образы, — нет, Гоголь не может! Страница за страницей тратится на чепуху, на высмеивание еврейской речи («шнуречки, бляшечки», «ох, вей мир!», «цур им») и речи караульных («сто дьяблов чортовой матке»).

Неосторожность, если не глупость Тараса портит всё дело: на последнем этапе в тюрьму не пускают. Чтобы Тараса тут же не схватили, Янкель выкладывает часовому сто золотых. Вообще же, в эти два дня, он выложил, по осторожной прикидке, около пятисот червонцев, то есть четверть полученного от Тараса. Тарас, естественно, при деньгах, но не сказано, чтоб деньги шли из его «гармана»; платит всюду Янкель.

Тарас требует, чтобы его вели на площадь, где будет казнь. Янкель возражает: «зачем ходить?» Тарас настаивает. «И жид, как нянька, вздыхая, побрёл вслед за ним.» Янкель уже не в первый раз назван нянькой Тараса.

Гоголь долго рассуждает о грубости тогдашних нравов, когда публичная казнь с пытками была всенародным развлечением. Наполнители, слова ради слов и стилистические уродства

идут у Гоголя в каждой фразе. Например, бывало, что женщины, насмотревшись на пытки «довольное время», потом ночами «кричали спросонья так громко, как только может крикнуть пьяный гусар». Дивное художество, ведь так? А вот и целый эпизод-наполнитель:

> «На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич, или казавшийся шляхтичем [sic! опять то же! не знаешь — не пустословь! повествователь в прозе — господь бог для читателя, он всё должен знать], в военном костюме, который надел на себя решительно всё [костюм, не шляхтич, «надел на себя всё»!], что у него ни было, так что на его [костюма!] квартире оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги [не знаешь, шляхтич ли, но знаешь про изодранную рубашку?]. Две цепочки, одна сверх другой, висели у него на шее с каким-то [sic! не знаешь, с каким, пропусти эпитет] дукатом. Он стоял с коханкою своею, Юзысею, и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замарал ее шелкового платья. Он ей растолковал совершенно всё, так что уже решительно не можно было ничего прибавить. "Вот это, душечка Юзыся, — говорил он, — весь народ, что вы видите, пришел затем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот, душечка, что, вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты, то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив; а как отрубят голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубят голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить, оттого что у него, душечка, уже больше не будет головы". И Юзыся всё это слушала со страхом и любопытством.»

Ладно бы Юзыся, но ведь и нам тоже всю эту позорную дребедень приходится слушать! Поверить этому эпизоду немыслимо именно из-за пустословия. Слова, слова, слова! Занятно, что у этой Юзыси, выхваченной из толпы соколиным оком автора, есть имя, а у «панночки», обворожившей Андрия, как-никак главной героини, имени так и не оказалось.

Будь Гоголь талантливым писателем, вместо эпизода с Юзысею был бы как раз эпизод с безымянной возлюбленной Андрия, которую вот тут можно было бы и поименовать, пусть с опозданием. Эпизод этот напрашивается. Дорисую за Гоголя упущенную им возможность: на одном из балконов, вместе с вельможными зрителями казни, сидит и эта девушка, и не одна, в компании своего нового жениха, графа или барона, к которому ненароком прижимается своими «мощными членами». Андрия она и не вспоминает, «ветреная, как полячка». Ей что тот жених, что этот, — вот что ударило бы по чувствам читателя! «Ты не должна любить другого, нет, не должна, ты мертвецу святыней слова обручена!» Казнимым козакам эта девушка совсем не сочувствует. В Остапе она узнаёт брата Андрия, смотрит на него с презрением и произносит что-нибудь оскорбительное в его адрес. Вот это был бы выпад! Вот была бы месть! Гоголь бы разом всех ляхов выставил подлецами. Но ничего этого в повести нет. Мстительному Гоголю эта месть не по уму, не по таланту.

Закусив губу от негодования, прочитываю ещё целую страницу вздора, где каждая фраза

— в художественном отношении ложь.

Наконец, выводят осуждённых.

> «Они шли с открытыми головами, с длинными чубами; бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо [sic!], не угрюмо, но с какою-то тихою [sic!] горделивостию; их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутьями, они не глядели и не кланялись народу [sic!]. Впереди всех шел Остап.»

В этом куске совершенно возмутителен оборот «не боязливо». В очередной раз убеждаюсь, что Гоголь не понимает русского языка. Слово боязнь не годится для ситуаций, сопряженных с ужасом и смертью. Оно изображает не слабую степень страха, а страх мелкий: боязнь начальства, боязнь сырости. Для меня есть что-то отвратительное в этой подмене простых и естественных слов (без страха / спокойно / с достоинством) таким нарочитым вывертом. И разве не вздор, что козаки шли, «не кланяясь народу»? Они что, актёры? Какой народ вокруг них? Не враги ли?! Ведь это опять слова ради слов, с попранием смысла! Тоже самое и с горделивостью: она, во-первых, «какая-то», во-вторых, «тихая», — чистый случай слов-наполнителей. И другое поражает: козаки все одинаковы, все «равны как на подбор». Что тот козак, что этот. А более всего третье поражает: Гоголь не говорит нам, скольких козаков вывели на казнь: двоих? пятерых? тридцать человек? Ведь это всю картину смазывает! Ведь это нам куда важнее знать, чем про шляхтича-не-шляхтича с Юзысею. Как, г. Белинский, прикажете мне восхищаться этой беспомощной поэзией в прозе? На мой вкус — она позорна.

Глядя на Остапа, Тарас «не проронил [sic! думаете, ни звука?] ни одного движения его… стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподняв очи» [попробуйте осуществить такое перед зеркалом!]. Проглатываю этот вздор; жду развязки; людей сейчас казнить будут, четвертовать. Гоголь, спасибо ему, на этот раз не смакует пыток. Остап переносит муки с невероятным мужеством. Подобное встречаем только у американских индейцев Фенимора-Купера. «Ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его…» Чисто написанная фраза у Гоголя такая редкость, что на радостях хочется кинуться руки ему целовать… но тут же идёт чуть ли не текстуальный повтор: «ни крика, ни стона не было слышно», и всё впечатление смазано. Не умеет человек писать, и всё тут!

Потребность заполнять страницу пустыми словами доходит у Гоголя до абсурда:

> «Он [Остап] не хотел бы слышать рыданий и сокрушения слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающей волосы и биющей себя в белые груди…»

Какие, к чорту, белые груди супруги, ведь Остап не женат?! Может, и рыданий дочери или внучки он слышать бы не хотел?

Однако ж сразу после белых грудей следует эпизод, не лишённый достоинств, один из немногих выразительных во всей повести, да притом и компактный:

> «И упал он силою и воскликнул в душевной немощи: — Батько! где ты? слышишь ли ты это? — Слышу! — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул. Часть военных всадников бросилась заботливо [sic!] рассматривать толпы на-

рода. Янкель побледнел как смерть, и, когда всадники немного отдалились от него, он со страхом оборотился назад, чтобы взглянуть на Тараса, но Тараса уже возле него не было: его и след простыл.»

Конечно, и здесь не обошлось без словесной грязи: что делает в этой сцене слово «заботливо», совершенно сюда не годящееся? Ведь это вздор вопиющий, нестерпимый: стража «заботливо» ловит нарушителя! И что это за «военные всадники»?

Тут и сюжетный ляпсус: сцена казни брошена без завершения. Гоголь обрывает повествование на полуслове, забыв сказать, что Остап, услыхав Тараса, вероятно, на секунду возликовал, перестал испытывать муки и тотчас испустил дух. Как можно было не сказать этого? Как можно бросить любимого героя в минуту его гибели без напутственного слова?

Рядом и другой ляпсус. Тарас, которого до этого момента Янкель всюду опекал в Варшаве, как нянька, вдруг чувствует себя как рыба в воде в густой толпе враждебных поляков — и без всякого труда скрывается. Где? Как он уцелел? Как выбрался из враждебной Варшавы? Ответа нет.

12

Декорация меняется. Появляется второе историческое лицо повести: «молодой, но сильный духом гетьман Остраница» (Острянин). Что он молодой, это художественная вольность Гоголя, потому что дата рождения Острянина неизвестна. И гетманом этого вождя не все источники называют. Известно, что а 1632-34 годах он, реестровый козак Речи Посполитой, участвовал в Смоленской войне *против* Московии, а в 1638 году возглавил вместе с неким Гуней большой крестьянский и козацкий мятеж. Годом смерти Острянина считается 1641, но обстоятельства его смерти неясны.

У Гоголя вот что:

> «Сто двадцать тысяч козацкого войска показалось на границах Украйны. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отряд, выступивший на добычу [sic! запорожцы!] или на угон за татарами [sic! они же!]. Нет, поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа, — поднялась отомстить [sic!] за посмеянье прав своих, за позорное унижение своих нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинства чужеземных панов, за угнетенье, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле [sic!] — за всё, что копило и сугубило с давних времен суровую ненависть козаков.»

Опять видим не борцов за свободу, а мстителей, у которых ни теперь, ни «с давних времен» нет лозунга национальной независимости или, упаси боже, добровольного присоединения к единоверной Московии. Нет у них и претендента на трон, как в восстании Пугачёва, «бессмысленном и беспощадном»: ничего законного или хоть по видимости возвышенного, ведь месть, она же «суровая ненависть», — не самое благородное чувство. Нет вообще никаких объявленных требований. Зря Гоголь говорит: не на добычу. Жиды не случайно упомянуты: пограбить безоружных и слабых — без этого мстители и не поднялись бы. Замечу, что все перечисленные обиды — назывные: ничего конкретного. А каковы обороты! — «посмеянье

прав», «унижение нравов»!

> «Восемь полковников вели двенадцатитысячные полки. … между теми восьмью полками отборнее [sic!] всех был один полк; и полком тем предводил Тарас Бульба… Даже самим козакам казалась чрезмерною его беспощадная свирепость [sic!] и жестокость. Только огонь да виселицу определяла седая голова его, и совет его в войсковом совете дышал только одним истреблением.»

Восемь на двенадцать дают девяносто шесть, а не сто двадцать, но у Гоголя ведь никогда концы с концами не сходятся, так что эти потерянные 24 тысячи лихих козаков — сущий пустяк. Важнее характеристика Тараса: свирепость, огонь да виселица, истребление. Этому верю. Мститель хоть куда. Недаром советские шавки Тараса так характеризуют: «Богат его нравственный облик» (в издании 1952 года).

Определённых требований у восставших нет, зато у автора есть неизбывное русское бахвальство.

> «Известно, какова в русской земле война, поднятая за веру: нет силы сильнее веры. Непреоборима и грозна она, как нерукотворная скала среди бурного, вечно изменчивого моря. [следуют ещё 59 поэтических слов по скалу и море]… Были перевешаны бессовестные арендаторы-жиды [sic! дивное место! не арендуй, бессовестный жид!]… слаб был коронный гетьман Николай Потоцкий с многочисленною своею армиею против этой непреодолимой силы…»

Козаки, пограбив, заключают мир со слабым Потоцким, то есть уступают ему, если не сдаются, — семь полков из восьми. Один Тарас Бульба отказывается мириться.

> «Тарас гулял [sic!] по всей Польше с своим полком, выжег восемнадцать местечек [надо полагать, еврейских]… Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие и лучшие замки… "Ничего не жалейте!" — повторял только Тарас. Не уважили козаки чернобровых панянок, белогрудых, светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их Тарас вместе с алтарями… не внимали ничему жестокие козаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя… Такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении…»

Гоголь опять, в который раз, упивается картинами избиения ни в чём не замешанных беззащитных людей, избиением в отместку за казнь разбойника, взятого с саблей в руках. Ну, и без путаницы у Гоголя не обходится. Панянка по-польски — девушка, откуда же у девушек младенцы? Чай, на дворе не двадцатый век.

Против Тараса выступил сам слабый Потоцкий. Козаки бегут, но настигнуты на берегу Днестра. Они заняли «развалившуюся крепость» с «останками [sic!] стен» и обороняются четыре дня.

> «И решился Тарас пробиться сквозь ряды. И пробились было уже

> козаки… как вдруг среди самого бегу [!] остановился Тарас и вскрикнул: "Стой! выпала люлька с табаком; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!" И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную сопутницу на морях и на суше, и в походах, и дома. А тем временем набежала вдруг [sic!] ватага и схватила его под могучие плечи… Мало не тридцать человек [sic!] повисло у него по рукам и по ногам… и заплакал [sic!] дебелый старый козак… И присудили, с гетманского разрешенья, сжечь его живого в виду всех. Тут же стояло голое дерево, вершину которого разбило громом. … Но не на костер глядел Тарас, не об огне он думал, которым собирались жечь его; глядел он, сердечный [sic!], в ту сторону, где отстреливались козаки: ему с высоты всё было видно как на ладони.»

Не Тарас ли, устами Гоголя, велеречиво уверял меня, что «как в Русской земле, не было таких товарищей»? И вот опять, как во время второй битве под Дубной, он, предводитель, бросает своих товарищей в критический момент боя, останавливает их по время прорыва, кричит «стой!», когда секунды на счету, — по сути дела предаёт их: ведь войско, утратившее командира, как правило, обречено на поражение. Зачем Гоголь так унижает своего героя? В обоих случаях причины отлучки командира сугубо личные, с тактикой боя не связанные, но если в первом случае это сведение счётов, то во втором — уже просто каприз, и каприз не «сурового» козака, а сибарита, не привыкшего ни в чём поступаться своим комфортом. Невозможно сомневаться, что эта начальственная прихоть, эта люлька, стоила жизни многим товарищам Тараса. Вот его русское товарищество! И — вот мастерство Гоголя!

Гоголь не намеренно унижает своего героя, он делает это по недомыслию, по своей писательской неумелости. Для Гоголя табак — что-то вроде ладана, а люлька — эмблема и талисман козака; без люльки козак — не козак (занятно, что это слово — люлька — всплыло под занавес; до этого у козаков в повести были трубки). Табака у Гоголя боятся только нечистая сила да жиды, что одно и то же. Гоголь, в этом невозможно сомневаться, находит поступок Тараса красивым; не сознаёт, что это предательство.

Чтобы отыскать люльку, Тарас «нагнулся» — то есть сошёл с коня, что ли? Его хватают пешие, ведь «ватага *набежала*». Гоголь недоговаривает, недоизображает. Этой недоговорённостью картина боя смазана, увидеть её нельзя. Нет ведь сомнения, что козаки пробивались верхами, и что верховым противостояли верховые. Про «тридцать человек» нечего и говорить, это поэзия, белинская поэзия, ляхи ведь все слабаки, но хорошо ли, что «дебелый старый козак» заплакал? По-козацки ли это? Опять Гоголя представляет Тараса в самом невыгодном свете, а ведь его писательская задача — прямо противоположная.

Распятый на дубе Тарас, под которым разводят костёр, видит на Днестре четыре челна и кричит своим отбивающимся товарищам, чтобы они спасались водой. Те послушались, но берег оказался крут, и козаки — «подняли свои нагайки, свистнули… перелетели через пропасть и бултыхнули прямо в Днестр». Не долетели и погибли, разбившись о скалы, только двое, без крови Гоголь не может… а сколько всего было уцелевших козаков, не сказано (полк-то из двенадцати тысяч состоял поначалу), и велики ли челны, достаточно ли там места остатним коза-

кам, неясно, и куда козаки коней своих дорогих дели, сев в челны, тоже неясно, — обычные у Гоголя прорехи в тексте, отнимающие всякую возможность верить написанному.

Ляхи преследуют козаков до берега, но перед крутизной останавливаются. Среди ляхов — молодой полковник, «родной брат прекрасной полячки». Он один бросается с конём в Днестр и, не долетев, гибнет. Как и сестра, он для нас безымянен. Может показаться, что сцена эта в сюжетном отношении совершенно лишняя, что она — наполнитель, но это всё же не совсем так. Гоголю важно завершить тарасову месть. До «прекрасной полячки» и её отца Тарас почему-то не дотянулся, хоть очень мог бы, ведь он и долго «гулял» по всей Польше. Эту возможность Гоголь упускает. А раз обольстительница и её отец уцелели, то пусть хоть брат полячки умрёт. Гоголь хочет крови, любит кровь, любит месть… Припоминаю: в *Дочери Монтесумы* герой, благородный мститель, в последнем эпизоде скрещивает шпаги с негодяем и вдруг замечает, что тот сражается не с ним, а с кем-то невидимым. Прямая месть, по европейской традиции, не к лицу настоящей доблести; негодяя убивает рука Проведения. То же и здесь, у Гоголя: не козаки убили брата возлюбленной Андрия, а над ним совершился суд божий. Однако ж есть и разница, и какая! Этот брат ни в чём не виноват, кроме того, что лях, он вообще не был ни разу упомянут в повествовании за полной ненадобностью, он не существовал, он свалился с неба, чтобы тут же немедленно и погибнуть к вящему удовольствию Гоголя.

Козаки, нужно полагать, спаслись. Под Тарасом разгорается костёр. Силой духа Тарас не уступает Остапу, но если тот в свой страшный час вспомнил отца (обычно, я слышал, перед смертью мать вспоминают), то этот — произносит пророчество:

> «Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся козак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымется из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!»

Пророчество это звучит несколько даже ошеломляющей правдой в 2020-е годы, не так ли? Но — не в XVII веке. В Московии с 1613 года уже есть царь, притом из Романовых, а восстание Острянина — 1638 год. Значит, не Московию называет Тарас русской землёю. Опять похвалю Гоголя: русская земля есть Русь, то есть Украина, Малороссия. Московия — всё что угодно, только не русская земля; Московии — имя Украина больше подходит, чем Киеву или Чернигову. И, конечно, «свой царь» — это национальная независимость на языке позднего средневековья, ведь идеи народного суверенитета и отечества до французского 1789 года не существовало, было только подданство законному монарху, суверену.

Тарас на костре — единственное место в повести, где можно услышать подобие национально-освободительного лозунга. И оно рискованное: оно — об *отделении* Украины от России. Почему это место не насторожило петербургских современников Гоголя, для которых русские и украинцы были одним народом? Да просто потому, что никто никогда Гоголя внимательно не прочёл! Я совершенно убеждён, я утверждаю, что Белинский, человек без шуток умнейший, произнёс все свои немыслимые глупости в адрес Гоголя не только из соображений тогдашней сиюминутной конъюнктуры, но ещё и потому, что лишь пролистал *Тараса Бульбу*, пропуская страницы, не поддающиеся прочтению.

Погибающий Тарас успел напутствовать своих товарищей просьбой: «Вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда, да хорошенько погуляйте!» Перед нами обычное обольщение умирающего: что его будут помнить и поминать. Будь Гоголь талантливее, он был осуществил в своей повести эту несбыточную мечту Тараса: хоть в одной фразе собрал бы через год уцелевших козаков из полка Тараса на месте казни Тараса. Но этого в повести нет, Гоголь от Тараса отмахивается, оставляет его умирать в муках, а вместе с тем вторит ему, произносит уже от себя: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу?» Как и Остап, Тарас у Гоголя не умирает, момент смерти не описан. Может, эти два козака живыми вознеслись на небо подобно Илье-пророку?

Отчётливо помню, что в отрочестве — я не только не сострадал погибающему Тарасу (ему ведь и Гоголь не сострадает), а был рад избавиться от Тараса и его люльки. Рад я и теперь, но теперь — я избавляюсь от негодяя, бившего «старушку»-жену, от разбойника, сжигавшего живьём женщин и детей. Таким его изобразил Гоголь. Ни с каких позиций ничего трагического нет в гибели такого главного героя. То, что он «сердечный» у Гололя, смешно и отвратительно.

Действие окончено, под занавес идёт поэзия:

> «Немалая река Днестр, и много на ней заводьев, речных густых камышей, отмелей и глубокодонных мест, блестит речное зеркало, оглашенное звонким ячаньем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем, и много куликов, краснозобых курухтанов и всяких иных птиц в тростниках и на прибрежьях.» —

такова концовка повести.

«Гордый гоголь», который несётся по Днестру (!), как если бы утка была быстроходным катером на подводных крыльях, — это Гоголь о себе обмолвился «звонким яченьем», это он гоголем ходит. Это он восклицает на свой лад: «Ай да Гоголь, ай да молодец!» по завершении труда; гордится своим трудом. И зря. Гордиться тут нечем. *Тарас Бульба* — худшее из десяти канонических сочинений Гоголя, которые я прочёл с карандашом. Эта повесть хуже даже *Страшной мести*, страшной лишь в своём несомненном ничтожестве. Там как-никак всё же сказка, там все промахи и нелепости можно на Бояна списать, а тут — Вальтер Скотт проходу не даёт, под ногами болтается. В этой повести Гоголь — бездарен; глуп и бездарен.

Добрые люди скажут на это: я оттого строг к русскому классику, что задет тем унижением, которому Гоголь подвергает жидов. Добрые люди ошибутся. В детстве я как раз поверил Гоголю в его отношении к жидам, я ведь вырос в сознании, что я русский, вырос в послевоенном ленинградском дворе, в атмосфере стойкого неустранимого антисемитизма, которому в моей семье отпора не было. Правда, перед моими глазами был мой отец, человек одновременно кроткий и суровый, ростом выше всех мужчин, каких я видел в детстве, по мнению всех женщин необычайно красивый, — и в нём, еврее, не было ни единой еврейской черты, описанной Гоголем. Но ведь то был мой отец! Он особый! К тому же я чувствовал: отец отвернулся от евреев, недаром и меня он хочет видеть русским. Отец никогда при мне не говорил о евреях, даже — о своих родителях… ни разу этого слова не произнёс: еврей. Других евреев, кроме отца, я не знал. Даже о том десятилетиями не догадывался, что некоторые из моих школьных учителей были евреями. Еврейский вопрос для меня не существовал.

В повести Гоголя меня несколько беспокоило только слово жид. В ту пору, как и все вокруг, я полагал, что это кличка еврея оскорбительна. Такова была установка. За слово жид в 1930-е годы в тюрьму посадить могли… а русского классика Гоголя превозносили и в тюрьму не сажали. Теперь я думаю, что отрицание слова жид было советским суеверием, хуже того, выпадом против украинского народа и других славяноязычных народов, где аналога слову еврей просто нет (или этот аналог не в ходу). Теперь я и то знаю, что у большинства западноевропейских народов для обозначения еврея преобладает тот же корень, и никто в этом беды не видит. Уж не говорю, что значения слов, их содержательное наполнение — меняется. Когда я уезжал в эмиграцию в 1984 году, слово жид считалось в приличном обществе неприличным, зато в обществе не совсем приличном, всего одною общественной ступенькой ниже, слово еврей шло как ругательство и оскорбление — почище слова жид. Поэтому теперь слово жид кажется мне совершенно приемлемым. Оно не лучше и не хуже слова еврей. Всё дело в договорённости.

В детстве для меня еврейского вопроса не существовало — не существует и в старости. Он полностью разрешён ходом истории и моею жизнью. В моём теперешнем суждении о *Тарасе Бульбе* евреи не участвуют. Туман рассеялся. Глазами Гоголя смотрят на евреев только люди, безнадёжно отставшие от жизни или предвзятые, завистливые, неумные. Нелепости, которые Гоголь говорит о евреях, забавляют меня как свойства его эпохи. Они унижают не евреев, а Гоголя в его ксенофобии. Гоголь низок в своих суждениях о евреях — но он совершенно так же низок в своих суждениях о поляках, цыганах и всех прочих инородцах. Он вообще низок. Этой низости Гоголь не обнаружил бы, будь он талантливее и умнее.

13

Я нашёл ответ на мой вопрос, почему в отрочестве *Тарас Бульба* не произвёл на меня впечатления. Повторю для себя главные мои наблюдения.

Язык Гоголя не просто плох: он возмутительно уродлив. Оттого, что некоторые уродства Гоголя нарочиты, язык его не становится лучше. Русского языка Гоголь не чувствует и не понимает; даже прямого значения многих русских слов и оборотов не понимает. Ошибки есть у всех писателей, но ошибки Гоголя идут сплошным потоком, встречаются в каждом абзаце, и некоторые из них не только о невладении языком свидетельствуют, но и о прямой глупости.

Из всех словесных уродств Гоголя уродливее всего не то что *косвенно* стоит у него в значении *косо*, не «висело вниз», не «возмужали и стали мужами», а то, что козаки и запорожцы называются у него рыцарями. Гоголь берёт не русское, а польское значение этого *польского* слова. Рыцарства, как оно понимается в русском языке, в славянских странах не было. А довершает уродство то, что и в его польском значении слово *рыцарь* к запорожцу не применимо.

На этом стою и не могу иначе. А вот каноническое суждение (в издании 1952 года):

> «В своей работе над языком Гоголь стремился к простоте и выразительности. Язык повестей Гоголя необычайно ярок, эмоционален. Гоголевская фраза красочна и картинна. Гоголь был подлинным живописцем слова. Его произведения носят на себе печать глубокого и вдумчивого изучения народной речи.»

Радуйся этому вздору, кто может; резвись в своей песочнице, — а по мне тут всё ложь, суеверие, лукавая круговая порука и приспособленчество.

Упаковочной ваты, слов-наполнителей, мест ложно-поэтических и вовсе пустых, в повести так много, что она бы выиграла от сокращения впятеро за счёт изъятия белинской поэзии (что, конечно, и делается при переводах на иностранные языки). Иные страницы невозможно прочесть. Будь эти проходные места написаны хорошим языком, они бы и тогда мешали; при языке уродливом — они нестерпимы.

В сюжетном отношении повесть скудна, примитивна: вся вытянута в одну линию, остаётся в одной плоскости. Нет стереоскопического эффекта, достигаемого в европейской прозе переключениями, переносами в пространстве и во времени, перескоками социальными, от придворных к разбойникам. Мы почти всё время остаёмся с Тарасом, который надоедает, а под конец и противен становится. Исключения — два эпизода с Андрием: как он через каминную трубу в спальню к девушке залез и как он подземным ходом поникает в Дубну; они и запоминаются больше всего. Первый из них хоть и невероятен, а не затянут, компактен и этим жив. Что такое достоверность в прозе? Чистое отчётливое письмо, без ляпсусов. У Джека Лондона в *Морском волке* девушка и молодой человек из интеллигентов (она поэтесса, он литературный критик) оказываются на необитаемом острове — и не только не погибают, а ремонтируют шхуну, которую обслуживал экипаж в двадцать человек (в том числе устанавливают мачту!) и выходят в море — на встречу своему счастью (они, разумеется, поженятся). Всё это совершенно невероятно, а читается на одном дыхании, потому что написано честно, без «конной сбруи» и «останков стен»… Нет, в *Тарасе Бульбе* есть и третий эпизод, останавливающий внимание, хоть и с оговорками: казнь Остапа. И опять: он потому хоть как-то работает, что не растянут. Все остальные — жидкая размазня.

Сюжетные ходы у Гоголя всегда плохо согласованы, ткань полна логических прорех и не подрублена по краям, нитки точат во все стороны. Гоголь не умеет работать с текстом, не помнит своих же слов и спотыкается через абзац, противоречит себе через фразу. Действия героев немотивированы, их решения и поступки нелепы. Все герои глуповаты, не исключая и Янкеля, без которого Тарас, совсем ничего не соображающий, кроме как «погулять», в трудную минуту шагу ступить не может.

Ни один из героев, кроме Андрия, не вызывает в читателе человеческого сочувствия. «Сердечный» Тарас выведен головорезом, его смерть воспринимается как избавление. Его сын Остап, можно допустить, женщинам груди не отсекал, и смерть принял стоически, но ничего хорошего в жизни не сделал, в благородных поступках или помыслах не замечен, схвачен в грабительском набеге с саблей в руке и справедливо квалифицирован как разбойник, за что и казнён. «Старуха-мать» тридцати восьми лет изображена в её горе смехотворно, тут же отброшена Гоголем за полной ненадобностью и забыта им, уж не говорю: своим мужем и сыновьями. Янкель карикатурен вместе со всеми прочими жидами. Можно, кроме Андрия, сочувствовать разве что безымянной панночке, «ветреной как полячка» (надо бы: «как всякая полячка»), но влюбившейся в Андрия, своего врага, как Джульетта влюбилась в Ромео. В её двух монологах в Дубне несомненно присутствуют благородство и жертвенность, которыми она откликается на благородство и жертвенность Андрия. Можно, если сумеем преодолеть гоголевское отвращение к жидам, ещё то заметить, что Янкель, хоть он и ненавистен Гоголю, делает для Тараса больше, чем можно было бы ждать от такого, по мысли Гоголя, ничтожества,

даже и жизнью своею рискует. Дальше — пустыня; ни одной физиономии; козаки полка Бульбы все безымянны, все одинаковы. Чем хороши положительные (а подчас даже и отрицательные) герои Вальтера Скотта, с которого Гоголь глаз не спускает? Великодушием, душевной красотой. Вот этих-то качестве и катастрофически недостаёт козакам Гоголя. Парадокс, он же и наказание Гоголю за его равнодушие к людям и писательскую неумелость, состоит в том, что в героической повести Гоголя не положительные, а лишь отрицательные герои вызывают хоть какой-то отклик в сердце читателя.

Все герои Гоголя — схемы, души мёртвые или полуживые. Остап хоть и герой, а — никакой; доблестный козак, чуть доблестнее большинства. Тарас с его свирепостью к беззащитным тоже козак и козак, даром что очень силён, стар и глуп. Исключение — Андрий. Только он совершает нечто, достойное изумления — и рыцарственное, но его благородство смазано тем, что Гоголь видит в Андрие предателя. Вторая по яркости фигура — Янкель — тоже тускловата;: для Гоголя он не человек. Лишь эти два характера хоть сколько-нибудь прочерчены, выявлены поступками. Но разве этого хотел Гоголь? Разве он сатирик в этой вещи?

Повторю сказанное: не верю, чтобы кто-нибудь из серьёзных критиков, включая Белинского, когда-либо внимательно прочёл *Тараса Бульб*у. Утверждаю обратное: никто не прочёл. Похвалы Гоголю от современников подсказаны тогдашней литературной ситуацией: борьбой за свободное слово в эпоху противостояния классицизма и романтизма. Началась эта борьба за десятилетия до Гоголя. При Гоголе на берегах Невы произошёл один из самых заметных в тогдашней Европе всплесков этой борьбы, этакий русский запоздалый Sturm und Drang. Веками литература видела в народе чернь, а тут — народ, спасибо французской революции, сделался вдруг источником мудрости и вдохновения. Естественно, что и язык народный, прежде отвергавшийся, стал Ипокреной. Языковая корявость хлынула в литературу, как потоп, и была воспринята, как свобода, как благодать божья. Освобождались — от аполлонического начала классицизма, от простой, веской и выразительной фразы французского XVIII века, захватывающей в своём совершенстве. В Петербурге — освобождались от Пушкина. Не зря Мериме, знавший русский язык (и переводивший Пушкина и Гоголя) говорил, что фраза Пушкина — совершенно французская. Не зря Белинский, в своём самом глупом высказывании, спихивает Пушкина с пьедестала и ставит на его место Гоголя. Этот вопль вот как читается: — Не хотим больше французов, хотим своих! Не хотим больше бельведерского мрамора, хотим родной глины!

До *Тараса Бульбы* Гоголь разыгрывал эти две беспроигрышные в его время карты: свою псевдо-народность с галушками и свою словесную глину с «конной сбруей» — в пику и в укор мрамору Пушкина. В *Тарасе Бульбе* добавляется третья, тоже беспроигрышная: назывной патриотизм, восхваление «русской силы», отчизны и православной веры. По исполнению это бахвальство непомерно, по наполнению — оно лесть сразу двум адресатам: и культурному патриотически настроенному дворянскому Петербургу, и царской администрации с её «верой, царем и отечеством». Лесть эта лукава. Гоголь не говорит, что его Украина стремится в объятия Московии (Московия вообще не упомянута в повести) или к независимости, он только называет украинцев русскими — в эпоху, когда русскими называют себя москали. Слово отчизна лишено у Гоголя определённого смысла. Это слово было неизвестно козакам семнадцатого века (оно — порождение французской революции; и оно очень не понравилось императору Павлу, который велел всюду заменить его словом государство). Не знали козаки и слова Украина

(Украйна), оно позднее, притом — московское. Украины не было ни на политической карте Европы, ни в сознании европейцев; была Русь, автономия в составе Речи Посполитой. Патриотизм Гоголя при внимательном чтении должен быть одинаково неприемлем и для теперешнего русского, и для украинского патриота.

Исторические ошибки Гоголя позволительно не судить строго, но и они мешают. Гоголь не знал, что Сечь, на целых 35-40% неславянская по своему составу, не была эмбрионом независимой Украины, — недаром ведь, когда козаков выгнали за пределы Российской империи, Сечь, не «моргнув усом», со всеми своими 38-ю куренями преспокойно переехала на Дунай, под крыло султана — и стала турецкой. Историческая Сечь была гнездом разбойников. Но пусть бы в повести она стала славянской, религиозной и патриотической — покажи это действиями героев, и мы тебе поверим! Литература — не история. Убедительно написанная сказка становится действительностью. Однако ж вот этого-то — написать убедительно — Гоголь и не умеет. В повести у козаков Гоголя нет ни веры, ни родины (не то что отчизны), единственное дело гоголевского козака — «гулять», грабить, убивать. Корыстолюбие козаков, не только их зверства, показано на примерах — в отличие от корыстолюбия жидов, которое остаётся назывным.

Именно эта третья выложенная Гоголем карта, его туз после тройки и семёрки, его льстивый псевдо-патриотизм, окончательно губит повесть. *Тарас Бульба* Гоголя — полный провал. У автора нельзя заподозрить ни проблеска таланта. Всё — ложь; всё — беспомощность, прикрытая кривляньем. И эту-то позорную писанину мне, тринадцатилетнему школьнику, бессовестные наставники пихали в качестве великой русской классики! Не с большевиков началась большая ложь, а гораздо раньше.

2022